Михаил Александрович Булгаков

**Батум**

«Батум» — малоизвестная и последняя пьеса М. А. Булгакова написанная в 1939 году перед тяжелой болезнью.

Главным источником к созданию пьесы «Батум» послужила книга «Батумская демонстрация 1902 года» выпущенная в марте 1937 года и содержавшая документы и воспоминания о первых шагах И. В. Сталина в революционном движении Закавказья.

Замысел историко-биографической пьесы о Сталине Булгаков обдумывал с 1935 года, когда в печати появились сведения о раннем периоде деятельности Сталина в Закавказье и постоянных политических преследованиях со стороны властей.

В июле 1939 года Булгаков закончил работу над текстом рукописи. Вся пьеса с существенными поправками, сокращениями и дополнениями была перепечатана под диктовку автора набело. Этот экземпляр машинописи может рассматриваться как основной авторский экземпляр пьесы «Батум», аутентичный официальным экземплярам, переданным в дирекцию МХАТа и в Главрепертком.

В настоящем томе «Батум» печатается по этому экземпляру (ГБЛ, ф. 562, к. 14, ед. хр. 9), сверенному с машинописными копиями пьесы, имеющимися в Музее МХАТа и ЦГАЛИ.

Михаил Булгаков

**БАТУМ**

*Пьеса в четырех действиях*

Действующие лица

• Сталин.

• Ректор семинарии.

• Инспектор семинарии.

• Одноклассник Сталина.

• Варсонофий, служитель.

• Сильвестр, рабочий.

• Наташа, его дочь.

• Порфирий, его сын.

• Миха, Теофил, Канделаки, Геронтий, Дариспан, Климов, Котэ, Хиримьянц, Тодрия — рабочие.

• Приказчик с завода.

• Военный губернатор.

• Адъютант губернатора.

• Трейниц, жандармский полковник.

• Ваншейдт, управляющий заводом.

• Полицеймейстер.

• Кякива, переводчик.

• Околоточный.

• Реджеб.

• Вано, гимназист.

• Уголовный.

• Начальник тюрьмы.

• 1-й тюремный надзиратель.

• 2-й тюремный надзиратель.

• Николай II.

• Министр юстиции.

• Флигель-адъютант.

• Городовой.

• Женщина в толпе.

• Воспитанники 6-го класса семинарии, преподаватели семинарии, батумские рабочие, городовые, стражники, жандармы, уголовные в тюрьме, тюремные надзиратели, женщины-заключенные в тюрьме, два казака и курьер при губернаторе.

\* \* \*

Действие происходит: в прологе — в 1898 году, а в остальных картинах — в годы 1901–1904.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая — ПРОЛОГ

Большой зал Тифлисской духовной семинарии. Писанное маслом во весь рост изображение Николая II и два поясных портрета каких-то духовных лиц в клобуках и в орденах. Громадный стол, покрытый зеленым сукном. В зале никого нет. За закрытыми дверями глухо слышатся возгласы священника (в семинарской церкви кончается обедня). Неясно доносятся слова: «…истинный бог наш молитвами пречистыя своея матери, молитвами отца нашего архиепископа Иоанна Златоуста… помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец». В это время дверь, противоположная церковной, открывается, и в зал входит Сталин — молодой человек лет 19-ти, в семинарской форме.

Садится, прислушивается.

Затем послышался церковный хор, поющий заключительное многолетие. Через некоторое время дверь, из-за которой слышалась обедня, распахивается, и возле нее вытягивается служитель Варсонофий, человек всегда несколько выпивший. Входит инспектор семинарии, а за ним в порядке человек двадцать воспитанников VI класса. Инспектор выстраивает их, а Сталин поднимается со стула и становится отдельно. Затем в зал входит ректор семинарии, за ним члены правления семинарий и преподаватели и вслед за ректором размещаются за столом.

Ректор. Достопочтеннейшие и глубочайше уважаемые господа члены правления и господа преподаватели! Престрашное дело совершилось в родимой нашей семинарии.

В то время когда все верноподданные сыны родины тесно прильнули к подножию монаршего престола царя-помазанника, неустанно пекущегося о благе обширнейшей в мире державы, нашлись среди разноплеменных обитателей отечества преступники, сеющие злые семена в нашей стране!

Народные развратители и лжепророки, стремясь подорвать мощь государства, распространяют повсюду ядовитые мнимо научные социал-демократические теории, которые, подобно мельчайшим струям злого духа, проникают во все поры нашей народной жизни.

Эти очумелые люди со звенящим кимвалом своих пустых идей врываются и в хижины простолюдинов, и в славные дворцы, заражая своим зловредным антигосударственным учением многих окружающих.

И вот один из таких преступников обнаружился в среде воспитанников нашей семинарии!

Как же поступить с ним?

Подобно тому как искуснейший хирург соглашается на отнятие зараженного члена тела, даже если бы это была драгоценная нога или бесценная рука, общество человеческое анафематствует опасного развратителя и говорит: да изыдет этот человек! (Становится менее красноречив, но суров и неуклонен.) Постановлением правления Тифлисской духовной семинарии воспитанник шестого класса Иосиф Джугашвили исключается из нее за принадлежность к противоправительственным кружкам, без права поступления в иное учебное заведение.

Нам, как христианам, остается только помолиться о возвращении его на истинный путь и вместе с тем обратить горячие мольбы к небесному царю царей, дабы тихое, как говорил святой апостол, и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, сие бо есть добро и приятно перед Спасителем нашим…

Сталин. Аминь!

Молчание.

Ректор. Это что же такое?

Сталин. Я сказал «аминь» машинально, потому что привык, что всякая речь кончается этим словом.

Ректор. Мы ожидали от него выражения сердечного сокрушения и душевного раскаяния, и вместо этого непристойная выходка. (Инспектору.) Освободите зал от воспитанников, Мелитон Лукич. Господ членов правления прошу покинуть зал. Мелитон Лукич, вручите уволенному его билет.

Все покидают зал, кроме Сталина и инспектора.

Инспектор. Получите билет и распишитесь.

Сталин. Он называется волчий, если я не ошибаюсь?

Инспектор. Оставьте ваши выходки, пишите имя и фамилию.

Сталин расписывается и получает билет.

Инспектор (удаляясь). Лучше подумали бы о том, что вас ждет в дальнейшем. Дадут знать о вас полиции… (Закрывает за собою дверь.)

Сталин, оставшись один, закуривает.

Одноклассник (осторожно заглянув, входит). Вот история! С аминем-то, а? Он до того побагровел, что я думал, — тут его за столом сейчас кондрашка и хлопнет! Однако что ж ты теперь делать-то будешь? Да… положение твое, будем прямо говорить, довольно сложное. Жаль мне тебя!

Сталин. Как-нибудь проживем.

Одноклассник. Как-нибудь-то оно, конечно, как-нибудь… а вот, например, деньги у тебя есть?

Сталин (пошарив в карманах, изумляется). Что такое? Нету денег!

Одноклассник. Я могу дать тебе рубль взаймы. (Выбирает из кармана мелочь.) Как только сможешь, отдай.

Сталин. Ну что там… У тебя у самого нет. Что по гривенникам собирать будем, как на паперти… У меня есть другой, более серьезный план.

Одноклассник. Какой там план! Ты где обедать будешь и ночевать теперь, вот что любопытно?

Сталин. Обед-это не важно. Насчет обеда у меня твердая надежда на одно место. Тут есть более существенный вопрос… (Шарит в карманах.)

Одноклассник. Что это ты все по карманам хлопаешь?

Сталин. Не понимаю, куда рубль девался!.. Ах да, ведь я его только что истратил с большой пользой. Понимаешь, пошел купить папирос, возвращаюсь на эту церемонию, и под самыми колоннами цыганка встречается. «Дай, погадаю, дай, погадаю!» Прямо не пропускает в дверь. Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится, как я задумал. Решительно сбудется все. Путешествовать, говорит, будешь много. А в конце даже комплимент сказала — большой ты будешь человек! Безусловно, стоит заплатить рубль.

Одноклассник. Нет, брат ты мой! Загубил ты свой рубль зря. Все наврала тебе цыганка. Судя по сегодняшнему, далеко не так славно все это получится, как ты задумал. Да и путешествия-то, знаешь, они разного типа бывают… Да, жаль мне тебя, Иосиф, по-товарищески тебе говорю.

Сталин. За это спасибо. Да, кстати, вот о каком одолжении я тебя попрошу. Обстоятельства складываются так, что с Арчилом мне уж увидеться не придется. Так вот, пожалуйста, передай ему от меня письмо, но в собственные руки и по секрету.

Одноклассник. Хорошо, давай его сюда.

Сталин. А сам можешь прочитать, если хочешь. Письмо открытое.

Одноклассник (заглянув в листки). Забирай обратно свое письмо! (Оглядываясь.) Слушай, Иосиф, серьезно говорю тебе, брось это, в Сибири очутишься!

Сталин. Что же ты, согласился — и вдруг отказываешься?

Одноклассник. Ну-ну-ну! Ты это оставь, пожалуйста! Что это значит — отказываешься? Ты говорил — письмо, а это… прокламация!

Сталин. Не все ли тебе равно, что передавать — прокламацию или письмо? Прокламацию даже интереснее, она содержательнее.

Одноклассник. Да ну тебя совсем! Я отнюдь не намерен на улицу с волчьим паспортом вылететь. Я, брат, в университет собираюсь.

Сталин. Это ты хорошо задумал. А вот насчет этого — не понимаю, какой риск для тебя? По коридору пройти и отдать в руки. И ничего говорить ему не надо. Только скажи — от Иосифа, — и все. И он ничего говорить тебе не будет, только скажет — мерси.

Одноклассник. Бессмыслица это все, все эти ваши бредни!

Сталин. А если так, то постой, погоди, погоди! Тогда выслушай меня. Я давно знаю тебя. Интересно, что можно сказать о тебе? Подумаем. Первое: что ты — человек порядочный. Загибай один палец. И, конечно, если бы это было не так, я не стал бы тебя просить. Второе: ты — человек, безусловно, развитой, я бы сказал даже, на редкость развитой. Не красней, пожалуйста, я искренно говорю. И, наконец, последний палец, третий: ты — начитанный человек, что очень ценно. Итак, неужели же ты, при этих перечисленных мною блестящих твоих качествах, не понимаешь, что долг каждого честного человека бороться с тем гнусным явлением, благодаря которому задавлена и живет под гнетом и в бесправии многомиллионная страна? Как имя этому явлению? Ему имя — самодержавие. Вот в конце этого листка и стоят простые, но значительные слова — «долой самодержавие». В чем же дело?

Одноклассник. Аминь! А передавать листки не буду

Сталин. Так. В этой беседе выяснилось еще одно твое качество. Ты, оказывается, человек упорный. Кроме того, ты, может быть, подумал, что я тебя агитирую? Боже спаси! Зачем мне это надо? Я прошу тебя выслушать совсем другое. Я забыл сказать, что ты — хороший товарищ. Как же ты не можешь сообразить, что я с Арчилом видеться ни в коем случае не должен. А дело, между тем, спешное. Их ведь только что отпечатали, скажу тебе по секрету. Что же тебе стоят помочь твоим товарищам?

Одноклассник. Сколько их, говори?

Сталин. Десять штук всего. Да они тебя не обременят. Они на тонкой бумаге отпечатаны. Посмотри, какой шрифт хороший.

Одноклассник. Вот принесло меня к тебе прощаться! Ну, так и быть, давай. Арчил-то меня не подведет?

Сталин. Мне веришь?

Одноклассник. Верю.

Сталин. Головой отвечаю за Арчила. Режь. Да ты не беспокойся, я уж сказал, что через тебя передам, он знает.

Одноклассник. Ну уж это, брат ты мой, чересчур!

Сталин. Ничего особенного. По почте, ты сам понимаешь, я их послать не могу. Ясное дело, надо их передавать через какого-нибудь товарища, политикой не занимающегося и, кроме того, честного. Я и наметил передать через тебя.

Одноклассник. Однако ты… ты уж, знаешь ли…

Сталин. Ну, а теперь позволь мне сказать тебе на прощанье краткую благодарственную речь.

Одноклассник. Не нужно мне больше твоих речей!

Сталин. Ах, ты думаешь, что я тебе еще пачку всучу? Нет, зачем, же, надо меру знать. А вот что я хотел тебе сказать. Шесть лет мы протирали свои брюки на одной парте, и вот настало время расстаться…

Послышались шаги за дверью.

Уходи! Прощай.

Одноклассник убегает. Входит Варсонофий, в руках у него пальто и узелок.

Варсонофий. Извольте получить ваше пальто, господин Джугашвили. В кармане карандаш. Прошу проверить, все цело.

Сталин. Зачем проверять, я вам доверяю.

Варсонофий. С вас бы на полбутылки, господин Джугашвили, по случаю праздничного дня и вашего печального события. Теперь вы вольный казак, все пути перед вами закрыты. Надо бы выпить.

Сталин. С удовольствием бы, но, понимаете, такой курьез… ни копейки денег!

Варсонофий. Папиросочки нет ли?

Сталин. Папироску — пожалуйста.

Варсонофий. Покорнейше благодарю. И, господин Джугашвили, извините, велено вам передать, чтобы вы помещение семинарии немедленно покинули. Отец ректор уж очень злобствует на вас.

Сталин (надев пальто). Прощайте, Варсонофий.

Варсонофий. Как это вы его аминем резанули? А? Двадцать два года служу, но такого случая при мне не было. Ну, зато, натурально, и вам теперь аминь. Куда ж с такой бумагой, как вам выдали, вы сунетесь?

Сталин (вынув билет). Стало быть, это вредоносная бумага?

Варсонофий. Хуже не выдумаешь.

Сталин. В таком случае надо ее разорвать немедленно. (Рвет билет.)

Варсонофий. Что это вы делаете?!

Сталин. Помилуйте, какой же сумасшедший сам на себя такую бумагу будет показывать? Надо будет раздобыть хорошую бумагу.

Варсонофий. Уходите, от греха. (Удаляется.)

Сталин один. Окидывает взглядом стены. Потом швыряет клочки билета и выходит.

Темно.

Вторая картина

Прошло три года. Батум. Ненастный ноябрьский вечер. Слышен с моря шум. Комната в домике Сильвестра. Стол, над ним висячая лампа. Часы с гирями. Буфет. Кушетка. Над кушеткой на стене ковер, на нем оружие. В печке огонь. У огня Наташа. Снаружи послышался стук. Стучат условно — три раза раздельно, потом коротко, дробно.

Наташа (выходит. Послышался ее голос). Кто там?

Сильвестр (его голос слышен глухо). Это я.

Наташа (впускает Сильвестра. Удивлена, что тот один). А где же?..

Сильвестр (шепотом). Одна?

Наташа. Одна, одна… Но, понимаешь, отец, как на зло, весь вечер народ идет к нам. Сейчас только выпроводила соседку. Пришла соли попросить и застряла.

Сильвестр. А Порфирий?

Наташа. Еще не приходил.

Сильвестр. Ага… Гм… Порфирий… Порфирия пока в тайну не посвящай… Он сам с ним переговорит.

Наташа. Что ж мы от Порфирия будем прятаться? Он свой человек.

Сильвестр. Я понимаю, что свой! Мой сын, значит — свой. Я ему вполне доверяю. Но он горячий, как тигр, и неопытный. Пускай он с ним сам говорит.

Наташа (шепотом). А где же он?

Сильвестр. Дожидается в садике. Нужно дело делать чисто: нету его у нас и не было. Значит, днем он совсем не будет выходить из дому, а только ночью. Соседям скажи, что эту комнату сдавать не будем, скажи, что Порфирий в нее переехал.

Наташа. Ну, понятное дело.

Сильвестр. Дверь не закрывай, я сейчас его приведу.

Выходит, через некоторое время возвращается. Вслед за Сильвестром идет Сталин. Голова его обмотана башлыком, башлык надвинут на лицо.

Входи, товарищ Coco. Вот это моя дочка Наташа, про которую я тебе уже говорил.

Наташа. Пожалуйста, погостите у нас.

Сталин. Не хотелось бы вас стеснять, но, понимаете, некоторая неудача на первых же шагах в Батуме. К Канделаки на Пушкинскую, во двор, вчера переехал околоточный. Боюсь, что мы с ним друг другу будем мешать… Ну, я к вам ненадолго, дней на пять, а потом опять на другую квартиру…

Наташа. Вы нас не стесните.

Сильвестр. Пожалуйста, живи, сколько надо. Проходи, Coco, в эту комнату и сиди там, пока я тебя сам не выпущу, потому что может прийти кто-нибудь посторонний. Вернется с работы сын мой, Порфирий, я тебя с ним познакомлю. (Ведет Сталина в темную комнату.) Осторожнее, тут ширма… окно на задвижку, имей в виду, не закрыто, на всякий случай… хотя ничего такого я не жду.

Сталин (в темной комнате). Хорошо, хорошо…

Сильвестр (выходя из темной комнаты, дверь, ведущую в нее, оставляет приоткрытой). Наташа, приготовь нам поесть. А я пойду за другими. Постучу, как условились.

Наташа. Хорошо. (Закрывает за Сильвестром наружную дверь, возвращается к печке, мешает угли и затем выходит из комнаты.)

В темной комнате на мгновение вспыхнула спичка, погасла.

Потом снаружи стук. Наташа проходит к наружной двери.

Кто тут?

Порфирий (глухо). Я.

Входит Порфирий, за ним Наташа. Лицо у Порфирия убитое. Он швыряет в угол шапку.

Наташа. Ты что это?

Порфирий. Ничего.

Наташа. Что с тобой случилось?

Порфирий. Ничего.

Наташа. А что ж ты так неприятно отвечаешь? А?

Порфирий. Ну, оштрафовали!

Наташа. Бедный! На сколько?

Порфирий. На пять рублей! Нож сломал.

Наташа. Ай-яй-яй!

Порфирий. А чем я виноват? Жесть не выскакивает, стал выковыривать ее, а под нож, чтоб мне руку не отхватило, подложил брусок. Что ж, руку, что ли, отдавать? Нож соскочил на брусок и сломался.

Наташа. Ведь это тебе дней десять даром работать придется? Э, бедняга! Ну, не грусти.

Порфирий. Я? Я не грущу. Пусть они подавятся моими деньгами! (Пауза.) Меня сегодня механик по лицу ударил! Вот чего я не прощу!

Наташа. Ну, ничего, ничего…

Порфирий. Оставь ты меня!

Наташа. Я ведь к тебе по-человечески, с сочувствием…

Порфирий. Не нужно мне человеческого сочувствия!

Наташа. Ну что ж… (Уходит.)

Порфирий некоторое время ходит по комнате, что-то бормочет, потом берет книжку, садится к столу.

Раскрывает книгу, но лицо его внезапно искажается.

Порфирий. Пойду завтра убью механика.

Сталин (из темной комнаты). А зачем?

Порфирий. А?..

Сталин (выходит). Зачем убьешь механика?

Порфирий. Кто вы такой… такой?

Сталин. Зачем, говорю, убьешь механика? Какой в том толк?

Порфирий. Да кто вы такой?!

Сталин. Нет, ты ответь мне. Ну, хорошо, ты его убьешь. Чем ты его убьешь?

Порфирий. Зубилом!.. Да вы кто такой?

Сталин. Ага, ты ему голову проломишь. Я тебе заранее могу сказать, сколько это тебе будет стоить. С заранее обдуманным намерением…

Порфирий. Каким таким намерением?

Сталин. Обязательно с намерением. Ты сегодня задумал, чтобы завтра идти убивать. Я слышал.

Порфирий. Чего вы слышали? Я вас не боюсь! Идите, говорите!

Сталин. Постой! Какой ты человек, прямо как порох! Слушай: двадцать лет тебе это будет стоить каторги. Ах да, ты, впрочем, несовершеннолетний. Одну треть скинут. И что же получится? Потеряна молодая рабочая жизнь навсегда, потерян человек! Но цех без механика не останется, и завтра же там будет другой механик, такая же собака, как и ваш теперешний, и так же будет рукоприкладствовать. Нет, это ложное решение! Оставь его.

Порфирий. Вы в квартиру к нам как попали?

Сталин. А твой отец меня пригласил. Он мой друг. Не скажу — друг детства, потому что я познакомился с ним недавно, но мы с ним очень крепко сошлись.

Порфирий. Отчего же вы в темноте сидели?

Сталин. Почему же не посидеть, если он меня попросил там посидеть, его подождать?

Порфирий. А Наташа вас видела?

Сталин. Видела. Она в кухне сейчас, ужин готовит, а я здесь сижу. Все в полном порядке.

Порфирий. А как вас зовут?

Сталин. По-разному. Coco меня зовут. А кроме того, ваши, батумские, почему-то прозвали меня Пастырем. А за что, не знаю. Может быть, потому, что я учился в духовной семинарии, а может быть, и по каким-то другим причинам. А ты можешь меня называть как хочешь, мне это безразлично. Да, так вот механик. Я понимаю, он нанес тебе душевную рану. Ну, а другие рабочие не страдают оттого, что их бьют? Разве у них не отнимают неправедно кровные деньги, как отняли сегодня у тебя? Нет, Порфирий! Ваш холоп механик тут вовсе не самая главная пружина, зубилом ты ничего не сделаешь. Тут, Порфирий, надо весь этот порядок уничтожить.

Порфирий. А!.. Порядок? Гм… Понимаю. Вы революционер?

Сталин. Конечно. Ну, а почему ты смотришь на меня с таким удивлением? Я ведь не один революционер на свете. А твой отец? А Наташа?

Порфирий. Вот какие дела!.. То-то они все время шепчутся…

Сталин. А как же им не шептаться? Они должны быть осторожны! Ты, понимаешь, человек молодой, пылкий… Да, кстати, ты эти свои манеры брось! Зубило и прочее… Ты же всем можешь принести величайший вред! Но теперь они шептаться не будут, потому что я тебя в это дело посвятил.

Порфирий. Предупреждаю, что в наш двор стал захаживать городовой. Один раз — говорит, пришел подсмотреть, почему двор так замусорен. Другой раз спрашивал, кто в гостях сидит? Предупреждаю: полиция следит за двором.

Сталин. Конечно! Ты прав. Очень хорошо, что у тебя острый глаз.

Порфирий. Какой такой мусор? Я сразу догадался.

Сталин. Правильно, при чем тут мусор! И знаешь, о чем мы тебя попросим… сюда сейчас кое-кто придет, а покараулить некому. Так уж, пожалуйста, во дворе подежурь. А завтра вечером я тебя приглашаю, соберется небольшой кружок, побеседуем… и тут ты в кой-каких вопросах поразберешься.

Порфирий. Постойте! (Прислушивается.) Нет, это мне послышалось. (Пауза.) Нет, а все-таки не удастся вам… У царя полиция, жандармы, войска, стражники…

Сталин.…прокуроры, следователи, министры, тюремные надзиратели, гвардия… И все это будет сметено!

Порфирий. Нет.

Сталин. Ты до этого часу доживешь.

Порфирий. Нет! Вот он, знак! (Указывает на свой висок.) Так и умру в рабстве!

Сталин. Долго ты еще будешь про эти побои говорить? Я тебе говорю, все это отольется и вспомнится! Доживешь!

Порфирий. Я не доживу.

Сталин. Да что такое! Я же тебе не на картах гадаю, а утверждаю это на основании тех научных данных, которые добыты большими учеными! Ты о них даже не слыхал.

Порфирий. Я понимаю, что вы образованный… но как-то веры у меня мало.

Сталин. Ах ты, боже! Доживешь!

Порфирий. Нет!

В дверях появляется изумленная Наташа с подносом, на котором еда.

Наташа. А вы… вышли?

Сталин. Да, мы уж познакомились.

Послышался стук.

Наташа. Отец.

Ставит поднос на стол, выходит, потом возвращается. За нею входят Сильвестр, Миха, Теофил и Канделаки.

Сильвестр. Ах, ты вышел уже?

Сталин. Надоело в темноте сидеть.

Сильвестр. Ну, познакомьтесь, вот наши: Миха с Манташева, Теофил — ротшильдовский. С Канделаки тебя знакомить не требуется… А это — товарищ Coco из Тифлиса. (Наташе, расставляющей еду на столе.) Бутылку вина достань.

Сталин (Порфирию). Вот мы теперь тебя и попросим. Ты там погляди…

Порфирий. Хорошо, хорошо. (Выходит.)

Сильвестр (Сталину). Ты ему все сказал?

Сталин. Ему можно.

Миха. Порфирию? Конечно, можно.

Теофил. Порфирий — честный юноша.

Сильвестр. Садитесь, друзья! Налейте, чтобы в стаканах было вино.

Канделаки. Безобидная компания… сидим…

Сильвестр. Ну, Coco, начинай.

Наташа шевелит догорающие угли.

Сталин. Товарищи! Я послан тифлисским комитетом Российской социал-демократической рабочей партии…

Наташа закрывает печку, свет начинает уходить.

Сталин.…для того, чтобы организовать и поднять батумских рабочих на борьбу…

Темно.

Картина третья

Прошло около месяца. Ночь. И та же комната, но празднично убранная и освещенная. Сдвинутые и накрытые столы, на них вино, еда. Деревцо орешника, убранное яблоками и конфетами. За столами человек двадцать пять. Среди них Наташа, Сильвестр, Миха, Теофил, Котэ, Геронтий, Дариспан, Герасим, Мгеладзе, Тодрия и Климов. Все смотрят на стенные часы, ожидая, когда они начнут бить. Стрелка стоит у 12-ти.

Миха. Вот он, Новый год, подлетает к Батуму на крыльях звездной ночи! Сейчас он накроет своим плащом и Варцхану, болото Чаоба и наш городок!

В это время снаружи донеслось глухо хоровое пение: «Мравалжамиер»…

Сильвестр. Он уже пришел в соседний дом!

Миха. Погоди, я не давал тебе слова! Их часы впереди.

Теофил (часам). Ну что же вы? Тащитесь скорей!

Миха. Погоди, не пугай их!

В это время часы начинают бить.

Раз!

Наташа. Два! Три!

Котэ. Четыре!

Присоединяются новые голоса, считают. «Одиннадцать… двенадцать!»

Миха (по-грузински). С Новым годом!

Климов. С Новым годом, товарищи!

Все запеи «Мравалжамиер».

Миха. Слово даю себе. Оно будет краткое. Что дала нам вереница прошлых старых лет — мы хорошо знаем. Пусть они уйдут в вечность! А мы сдвинем чаши, пожелаем, чтобы новый, 1902-й принес нам наше долгожданное счастье!

Сильвестр. Товарищи, кто пойдет сменить Порфирия? Давайте по очереди.

Котэ. Я иду.

Выходит, через некоторое время входит Порфирий.

Наташа. Садись сюда!

Теофил. Вина ему!

Порфирий. С Новым годом, товарищи!

Входит Хиримьянц.

Хиримьянц. Поспели вовремя! (Снимает пальто.)

За Хиримьянцем появляются Канделаки и Сталин.

Канделаки. Приветствую товарищей!

Сталин. Привет всем!

Наташа. Coco, иди садись, вот твое место! Канделаки, садись рядом со мной!

Теофил. А Хиримьянца устроим здесь, на кушетке?

Порфирий. Дай мне слово.

Миха. Не даю тебе слова.

Порфирий. Не понимаю, почему? (Поднимая бокал.) Твое здоровье, Coco!

Миха. Это мое слово! Здоровье товарища Coco! Слово для новогоднего тоста предоставляется ему.

Сталин. Ночь впереди, мы скажем много слов. (Сильвестру.) Все в сборе?

Сильвестр. Манташев… Ротшильд… Типография… Табачная… Нобель… Биниаит-оглы… Все в сборе.

Миха. Товарищи, внимание! Хочется, чтобы все соседи знали, как весело и шумно у Сильвестра встречали Новый год. Поэтому, когда я подниму руку, пусть нам поет Наташа. Ее голос как шелковая ткань. Когда же я подниму обе руки, мы грянем все. (Поднимает руку.)

Наташа тронула струны, запела негромко.

Миха. Конференцию представителей рабочих батумских социал-демократических кружков объявляю открытой. Слово предоставляется Константину.

Канделаки. Товарищи, мы будем кратки, у нас только один вопрос: выборы руководящего центра нашей организации.

Миха. Слово по этому вопросу предоставляется товарищу Coco.

Сталин. В этот центр должны войти надежнейшие и лучшие товарищи. Этот центр будет называться комитетом батумской организации Российской социал-демократической рабочей партии. Мы знаем уже все и твердо все это запомним, какого он будет направления. Он будет ленинского направления. Под этим знаком и знаменем мы начнем нашу борьбу! Вот все, что я хотел сказать.

Миха (машет Наташе рукой, чтобы она умолкла, потом поднимает обе руки). Ваше здоровье!

Все коротко пропели «Мравалжамиер».

Константин, говори.

Поднимает одну руку — Наташа начинает петь другую песню.

Канделаки. Вот список тех, кого товарищи на заводах наметили в комитет. Он всем присутствующим известен?

Голоса: «Всем! Всем!»

Товарищи предлагают, чтобы возглавил этот список товарищ Coco! Кто за то, чтобы эти лица, перечисленные в списке, вошли в состав комитета? Поднимите руки…

Все поднимают руки.

Мне остается только закончить словами: да здравствует…

Порфирий (перебивает). Да здравствует батумский комитет!

Миха, махнув Наташе, поднимает обе руки. Все поют «Мравалжамиер».

Миха. Ну, а теперь. Coco, скажи нам что-нибудь!

Сталин. Почему же непременно я? Я, товарищи, сегодня выступал в кружках четыре раза. А здесь нас, за столом, двадцать пять человек, и каждый из них оратор, я в этом убедился. Вот, например, я вижу, Порфирий порывается произнести речь, которая у него, по-видимому, уже готова.

Миха. Нет, я, как тамада, против этого! Потом Порфирий!

Многие голоса: «Потом Порфирий!»

Сталин. Ну что же… По поводу Нового года можно сказать и в пятый раз. Хотя, собственно, я и не приготовился. Существует такая сказка, что однажды в рождественскую ночь черт украл месяц и спрятал его в карман. И вот мне пришло в голову, что настанет время, когда кто-нибудь сочинит — только не сказку, а быль. О том, что некогда черный дракон похитил солнце у всего человечества. И что нашлись люди, которые пошли, чтобы отбить у дракона это солнце, и отбили его. И сказали ему: «Теперь стой здесь в высоте и свети вечно! Мы тебя не выпустим больше!» Что же я хотел сказать еще? Выпьем за здоровье этих людей!.. Ваше здоровье, товарищи!

Порфирий. Твое здоровье. Coco!

Все: «Твое здоровье!»

Тамада лишил меня моего существенного права произнести тост. А теперь я требую его.

Миха. Говори, но кратко.

Порфирий (обращаясь к Сталину). Я хочу тебе сказать, что я никогда не забуду твой первый разговор со мной, и прибавить, что я не хочу умирать в постели! Все!

Миха. В первый раз, сколько я тебя ни слышал, ты сказал хорошо. Сядь, Порфирий.

Сталин. Доживешь?

Порфирий. Безусловно!

Сталин. Твое здоровье!

Порфирий запел «Хасан-Бегура», другие голоса к нему начинают присоединяться. В это время вбегает Котэ.

Котэ. Зарево! Где-то пожар!

Миха. Что? Пожар?

Наташа бросается к окну, отодвигает занавеску. В окне дальнее зарево.

Наташа. Смотрите!

Многие бросаются к окнами

Климов. Постой-ка… Это где же?

Выбегает, за ним бросается Порфирий.

Миха. Постойте, это в стороне Ротшильда? Ну да.

Теофил. Там и есть!

Канделаки. Сильвестр, да это, кажется, у вас!

Сильвестр. Что ты говоришь! Быть не может, неужели!

Хиримьянц. Да там, там! Ротшильд горит!

Тодрия. Что, Ротшильд?

Вбегают Климов и Порфирий.

Климов. Вот те с новым годом, с новым счастьем! Вот те Каспийско-черноморское нефтепромышленное… Оно горит! Братцы, это Ротшильд горит!

Многие голоса: «Ротшильд? Ротшильд?»

Порфирий. Горит кровопийское гнездо! Туда ему и дорога!

Климов. Что ты плетешь? Что ж мы есть-то будем теперь?

Миха. Надо помогать тушить.

Наташа. Как же не тушить?

Теофил. Тушить?

Сталин. Конечно, тушить. Всеми мерами тушить. Но только слушай, Сильвестр: нужно потребовать от управляющего вознаграждение за тушение огня.

Сильвестр. Верно, товарищи!

В это время послышался конский топот во дворе.

Вот он, уже тут!

Приказчик (вбегает). Братцы, что ж вы? Не видите, что ли?! Лесной склад на нашем заводе горит! Бросится огонь дальше, все слизнет! Братцы! Летите на завод помогать!

Сильвестр. Платить будут?

Приказчик. Обязательно! Будут платить щедрой рукой! Что же вы сидите, братцы? Аль не жалко завода?

Тодрия. Мы — типографские.

Приказчик. Независимо! Независимо! Всем будут платить! Помогайте!

Сталин (приказчику). Мы список составим. Всем уплатят по списку?

Приказчик. Икону сниму, всем, конечно!

Сильвестр. Поспешим, товарищи!

Приказчик. Скорее, братцы! (Убегает.)

Рабочие начинают выбегать. Сталин надевает пальто, идет к двери.

Наташа. Что ж, Coco, ты приказчику прямо в лицо показался?

Сталин. Он сейчас в таком состоянии, что ничего не видит и не понимает. Он сейчас сам себя в зеркале не узнает.

Наташа. Куда ты?

Сталин. На пожар, тушить.

Наташа. Да нельзя тебе туда. Coco! Ведь там вся полиция будет!

Сталин (указав в окно, где зарево уже стоит до полнеба). Неужели ты думаешь, что им сейчас до меня? (Выходит.)

Занавес

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвертая

Прошло два месяца. Начало марта. Кабинет кутаисского военного генерал-губернатора. Губернатор сидит за письменным столом и читает «Новое время». И, судя по всему, прочитанным недоволен.

Адъютант (входит). Телеграмма, ваше превосходительство.

Губернатор. Нуте-с…

Адъютант (читает). «Кутаисскому военному губернатору. Секретно. Доношу о небывало беспокойном поведении рабочих на заводе Ротшильда. Подпись. Полицеймейстер города Батума».

Губернатор. Пожалуйста! Опять!.. Ах да… ведь это на другом заводе тогда было? У меня все путается в голове из-за этих батумских сюрпризов.

Адъютант. Тогда было на манташевском.

Губернатор. Безобразие… (Перечитывает телеграмму.) И притом какая манера телеграфировать! Вот я, например, сижу перед вами, вообразите — Соломон Мудрый, ничего не разберу! Что это значит — «беспокойное поведение»? Беспокойное поведение может принимать различные формы, что подтвердит вам любой врач. Можно, например, вскрикивать и заламывать руки. Но если, предположим, я вас укушу или, скажем, начну бить стекла в кабинете, то это будет уж совсем другой вид беспокойного поведения. Как вы полагаете?

Адъютант. Я полагаю, ваше превосходительство, что они хотят устроить забастовку.

Губернатор. Безобразие! Тогда так и надо телеграфировать: они хотят… и… это… устроить… эту… А то он своими телеграммами только сеет во мне тревогу. Он нервирует. И что случилось с Батумом? Было очаровательное место, тихое, безопасное, а теперь черт знает что там началось! «Небывало беспокойное…» Темно, воля ваша, темно. Пишет вот вроде этого журналиста. (Подчеркивает ногтем место в газете.) «Время, которое мы переживаем, исполнено глубочайшего смысла». И все! Спрашивается, какого смысла? Что это за смысл? (Смотрит на стенную карту.) Прямо на карту не могу смотреть… Как увижу «Батум», так и хочется, простите за выражение, плюнуть! Нервы напряжены, ну буквально как струны.

Адъютант. Что прикажете ответить полицеймейстеру, ваше превосходительство?

Губернатор. Прежде всего, чтобы он телеграфировал внятно. Внятно-с.

Адъютант. Подробности?

Губернатор. Ну да… э… нет, нет! Только, бога ради, без этого слова! Я его хорошо знаю: он накатает мне страниц семь самых омерзительных подробностей. А просто — внятно. Что там и как.

Адъютант. Слушаю. (Выходит.)

Губернатор (над газетой). Но какого смысла? Вот в чем весь вопрос и штука!

Адъютант (входит). Телеграмма, ваше превосходительство.

Губернатор. Пожалуйста.

Адъютант (читает). «Вайнштед уволил на Ротшильде 375 человек. Подпись: полицеймейстер города Батума».

Губернатор. Сколько?

Адъютант. 375.

Губернатор. Гм… И опять — не угодно ли! Уволил! Почему уволил? Зачем? Ведь он целую, так сказать, роту уволил. Позвольте, этот Вайнштейн… это… э… управляющий?

Адъютант. Так точно. Вайнштед.

Губернатор. Это безразлично. А важна, опять таки, причина увольнения и смысл его. Смысл! Запросить.

Адъютант. Слушаю. (Выходит и через короткое время возвращается.) Срочные, ваше превосходительство.

Губернатор. Да, да. Содержание.

Адъютант (читает). «Вследствие падения спроса на керосин жестянках на заводе Ротшильда Вайнштейном уволено 390 человек. Подпись: корпуса жандармов ротмистр Бобровский».

Губернатор. По крайней мере, ясная телеграмма. Толковая. Неприятная, но отчетливая телеграмма. Но, позвольте, тут уж кто-то другой, какой-то Вайнштейн?

Адъютант. Это тот же самый, просто в одной из телеграмм ошибка.

Губернатор. Но в какой из телеграмм?

Адъютант. Затрудняюсь сказать, ваше превосходительство.

Губернатор. Ну конечно, это все равно. А важно вот что… гм… «Падения»… Полицеймейстер телеграфирует — 375 человек, а ротмистр — уже 390… Впрочем, и это не важно, а важно… э… Вторую телеграмму, пожалуйста.

Адъютант (читает). «На Сидеридисе неспокойно. Умоляю обратить внимание. Подпись: Сидеридис».

Губернатор. Так. Прежде всего, кто этот, как его?..

Адъютант. Сидеридис, ваше превосходительство.

Губернатор. Ах да, завод.

Адъютант. Так точно, керосин.

Губернатор. И обратите внимание на стиль: «Сидеридис», «на Сидеридисе»… И опять это противное слово «неспокойно». Что это за пошлую манеру они взяли так телеграфировать! Не всякая краткость хороша. «Умоляю»! Вместо того чтобы умолять, он бы лучше толком сообщил, что там такое. Запросить объяснения.

Адъютант. А на телеграмму Бобровского?

Губернатор. А что же на телеграмму Бобровского? Что-с? «Падения». Что же я тут-то могу поделать? Не закупать же мне у него керосин! Законы экономики и… э… К сведению.

Адъютант. Слушаю. (Выходит и вскоре возвращается.) Помощник начальника жандармского управления полковник Трейниц.

Губернатор. Да, да, да, пожалуйста. (Входящему Трейницу.) Очень рад вас видеть, Владимир Эдуардович.

Трейниц. Здравия желаю, ваше превосходительство.

Губернатор. Прошу садиться, полковник. Я пригласил вас специально, чтобы серьезно побеседовать насчет Батума. В течение самого короткого времени этот прелестнейший, можно сказать, уголок земного шара превратился черт знает во что!

Трейниц. Да, в Батуме нехорошо.

Губернатор. Ну, вот видите! Сегодня меня буквально завалили телеграммами, одна неприятнее другой. Вдруг начал вопить этот… э… Сидеридис. Это какое-то непрерывное напряжение. Я уж говорил, нервы как струны. Вибрация… Нужно уяснить причины батумских явлений. Ведь они имеют какой-нибудь корень.

Трейниц. Как же. Мне лично корни батумских явлений уже ясны.

Губернатор. Ну, вот видите, как хорошо. Так в чем же там суть?

Трейниц. По моим сведениям, в Батуме сейчас работает целая группа агитаторов во главе с Пастырем.

Губернатор. Пастырем? А это еще кто? Пастырь…

Трейниц. Это — некий Иосиф Джугашвили.

Губернатор. Джугашвили… Кто же он такой?

Трейниц. Года три тому назад его, ваше превосходительство, исключили из Тифлисской семинарии за неблагонадежность. После этого он в течение некоторого времени работал в Тифлисе же, в обсерватории. Очень скоро сказались первые плоды его деятельности, в том числе организация социал-демократического кружка на заводе Карапетова, забастовки на конке и в железнодорожных мастерских и, наконец, прошлогодняя первомайская демонстрация. Впрочем, всего не перечислишь.

Губернатор. Я не могу понять, простите, как же тифлисский… этот… розыск не ликвидировал этого музыканта сразу?

Трейниц. Почему музыканта, ваше превосходительство?

Губернатор. Вы сказали, служил в консерватории?

Трейниц. В обсерватории.

Губернатор. Да, да. Но это безразлично. А как же они так? Э… не обезвредили?..

Трейниц. Они потеряли его, ваше превосходительство.

Губернатор. Ай-яй-яй! Да как же так? Ведь они должны же были…

Трейниц. Ну, формально они сделали что полагается. В том числе бесплодный обыск. Они отнеслись неряшливо к этому лицу, плохо взяли его в проследку, н он ушел в подполье.

Губернатор. Ай-яй-яй!

Трейниц. Да вот, не угодно ли. На мою телеграмму о приметах они отвечают буквально (вынимает из портфеля листок, читает): «Джугашвили. Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На левом ухе родинка». Все.

Губернатор. Ну, скажите! У меня тоже обыкновенная голова. Да, позвольте! Ведь у меня тоже родинка на левом ухе! Ну да! (Подходит к зеркалу.) Положительно, это я!

Трейниц. Ну, не совсем так, ваше превосходительство. Дальше телеграфирую: «Сообщите впечатление, которое производит его наружность». Ответ: «Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит».

Губернатор. Действительно, это… э… Я не понимаю, что нужно для того, чтобы, ну, скажем, я произвел на них впечатление? Неужели же нужно, чтобы у меня из ноздрей хлестало пламя? Но, однако, придется заняться этим… э… семинаристом серьезно.

Трейниц. Он теперь уже не семинарист. Он, ваше превосходительство, член тифлисского комитета РСДРП.

Губернатор. Виноват?..

Трейниц. Российской социал-демократической рабочей партии.

Губернатор. Так это, стало быть, э… важное лицо?

Трейниц. Да, это очень опасный человек. Предупреждаю вас, ваше превосходительство, что движение в Батуме теперь пойдет на подъем.

Губернатор. Что же вы намерены предпринять?

Трейниц. В два двадцать пять я уезжаю в Батум.

Губернатор. Очень, очень хорошо. Желаю вам полного успеха.

Трейниц. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. (Выходит.)

Губернатор подходит к зеркалу, рассматривает ухо.

Скрипнула дверь.

Губернатор (вздрогнув). Телеграмма?

Адъютант. Никак нет, ваше превосходительство. К вам господин Вайншед.

Губернатор. Тот самый? Сам приехал? Что такое? Пожалуйста.

Адъютант (в дверь). Прошу вас. (Пропускает входящего и скрывается.)

В руках у вошедшего измятый котелок. Вошедший в пальто.

Ваншейдт. Ваше превосходительство. (Кланяется.)

Губернатор. Прошу садиться. Вы из Батума?

Ваншейдт. Из Батума.

Губернатор. Вы… э… управляющий ротшильдовским заводом? Э… этого… Черноморско-каспийского?

Ваншейдт. Управляющий.

Губернатор. Да, простите, как, собственно, точно ваша фамилия? Вайнштейн или Вайнштедт?

Ваншейдт. Ваншейдт, ваше превосходительство.

Губернатор. Тэ дэ?

Ваншейдт. Дэ тэ.

Губернатор. Ну, вот видите… это уж совсем по-новому! Но что же вы так официально… э… в верхней одежде? Не угодно ли вам снять пальто?

Ваншейдт. У меня, ваше превосходительство, рукав в пиджаке с корнем вырван. Я ведь прямо с завода, на квартиру даже не заезжал, кинулся в поезд и к вам. (Идет к вешалке в углу, снимает пальто, вешает его, кладет па полочку котелок.)

Губернатор. Что же случилось? На вас лица нет.

Ваншейдт. Ваше превосходительство, ужас! Что у нас на заводе творится, это прямо нельзя описать! Пришлось уволить триста восемьдесят девять человек.

Губернатор. Триста восемьдесят девять? Большое количество! Я полагаю, что это вследствие падения спроса?

Ваншейдт (удивленный проницательностью губернатора). Вы угадали, ваше превосходительство. И они после этого устроили настоящий ад!

Губернатор. Чего же они хотят?

Ваншейдт. Они, конечно, хотят, чтобы их обратно приняли.

Губернатор. Так, так…

Ваншейдт. Но этого мало. Они такие требования выставили…

Губернатор. Агитаторы, конечно, работали?

Ваншейдт. Тучи агитаторов, нельзя себе представить, что там делается!

Губернатор. Вы пробовали повлиять на них?

Ваншейдт. Пробовал, ваше превосходительство.

Губернатор. И что же?

Ваншейдт. Они меня кровопийцей назвали.

Губернатор. Что же вы?..

Ваншейдт. Не на дуэль же мне их вызвать, ваше превосходительство. Я еле из конторы выскочил. Ведь они меня уж за пиджак хватали.

Губернатор. Что такое! Это чудовищно… Вы в список этих уволенных, я надеюсь, поместили самых беспокойных?

Ваншейдт. Само собой разумеется. Я захватил список с собой. (Роется в карманах, вытаскивает листок.) Ну уж это прямо чудеса! Как же это так?.. Извольте поглядеть.

Губернатор. Но позвольте… ведь это прокламация?..

Ваншейдт. Конечно, прокламация.

Губернатор. Какая наглость!

Ваншейдт. А где же список? (Идет к вешалке, шарит в карманах пальто.) Пожалуйста, ваше превосходительство еще одна.

Губернатор. Hо каким же образом… э… это к Вам попало?

Ваншейдт. Не знаю. Прошу на завод войска.

Губернатор. Гм… Сколько ж вам нужно войск на завод?

Ваншейдт. Два батальона.

Губернатор. Помилуйте, господин Ванштейн! У вас сколько в Батуме заводов?

Ваншейдт. Восемь керосиновых.

Губернатор. Ну вот-с! Ведь это, господин Ванштедт… язык арифметики неумолим… потребуется шестнадцать батальонов! А шестнадцать батальонов — это дивизия! И если к ней придать, как это полагается, конный дивизион артиллерии… а госпиталя, интендантство!.. Это… э… Я понимаю серьезность вашего положения и, конечно, дам вам стражников.

Ваншейдт. Сколько дадите, ваше превосходительство?

Губернатор. Пять человек.

Ваншейдт. Дайте сорок.

Губернатор. Ну, шесть.

Ваншейдт. Тридцать пять.

Губернатор. Помилуйте, господин Ваншейт… ну семь.

Ваншейдт. Пятнадцать.

Губернатор. Господин Вайнштейн, это странно, мы как будто торгуемся…

Адъютант (входя). Срочная, ваше превосходительство.

Губернатор. Читайте.

Адъютант (читает). «Кутаисскому военному губернатору. Копия — жандармское управление, полковнику Трейницу. Секретно. Срочно. Батуме забастовал ротшильдовский завод. Стали все цеха. Тысяча пятьсот человек. Ожидаю беспорядков. Ротмистр Бобровский».

Губернатор. Что?!

Ваншейдт. Вот, ваше превосходительство!

Губернатор. Сколько времени?

Адъютант. Половина третьего.

Губернатор. Ушел! Телефонируйте сейчас же на вокзал, чтобы дали паровоз, салон. Я еду в Батум. И… это… ко мне на квартиру чтобы… это… чемодан!

Адъютант. Слушаю. (Бежит к дверям.)

Ваншейдт. Я с вами, ваше превосходительство.

Губернатор. Что? Ах, да, да.

Чья-то рука в самых дверях подает адъютанту телеграмму.

Адъютант. Срочная!

Губернатор. Ну, ну?

Адъютант (читает). «Панаиота побили на Сидеридисе. Подпись: Сидеридис».

Губернатор (взревел). Что же это такое?! Я вас спрашиваю! Это еще что? Какой Панаиот? Что это значит? Почему побили? Телеграфируйте этому Сидеридису, чтобы он сию минуту перестал телеграфировать мне глупости! Кто этот Панаиот?!

Ваншейдт. Панаиот, ваше превосходительство, это главный приказчик у Сидеридиса.

Губернатор. Так, черт же их… так и телеграфируй — почему его побили?! Шинель мне!

Курьер бросается к вешалке, Ваншейдт также.

Губернатор (всовывая руки в рукава). Зачем побили? Ведь если побили, значит, есть в этом избиении какой-то смысл! Подкладка, цель, смысл!

Поспешно выходит, за ним бросается Ваншейдт.

Темно.

Картина пятая

Через сутки. Мартовский день. Наполовину выгоревший цех на заводе в Батуме. Чувствуется, что и цех и двор залиты громаднейшей толпой (ее самое не видно). Цепь городовых не подпускает ее к какому-то помосту, на котором стоят Трейниц, полицеймейстер, Ваншейдт и Кякива. Слышен ровный гул толпы. Входит губернатор в сопровождении двух казаков.

Губернатор. Здравствуйте, господа!

Полицеймейстер. Здравия желаю, ваше превосходительство.

Губернатор. Это что же? Целая толпа, как я вижу?

Полицеймейстер вздыхает.

Губернатор. Безобразие! Здравствуйте, рабочие! (Молчание.) Безобразие! (Обращает свое внимание на Кякиву.) Это кто такой?

Трейниц. Переводчик при жандармском управлении, ваше превосходительство.

Кякива. Кякива, ваше превосходительство.

Губернатор. Безобра… а, хорошо. Вы им… ты им… э… любезнейший, будете, будешь переводить. (Толпе.) Ну-с, выпустите вперед главных!

Толпа закричала на русском, грузинском языках: «У нас нету главных!.. Нету у нас никаких главных!.. Все одинаково терпим!.. Все мы здесь главные!.. Все!..»

Кякива. Они, ваше превосходительство, говорят, что нету главных, все одинаково, говорят…

Губернатор. Что это значит — одинаково?

Кякива (кричит по-русски). Что значит — одинаково?

Губернатор. Не могут же объясняться сразу две тысячи человек! Пусть вперед выпустят того, кто изложит их желания! (Полицеймейстеру.) Всегда надо пробовать подействовать мерами кротости.

Полицеймейстер вздыхает.

Выходят Геронтий, Порфирий и Климов.

Губернатор. Ну, вот так-то лучше. Потолкуем, разберемся в ваших нуждах. (Геронтию.) Ну, говори, что у вас тут, чем это вы недовольны?

Геронтий. Очень тяжко живем. Мучаемся.

Кякива. Он говорит, мучаются.

Губернатор. Понимаю я.

Толпа: «Нету житья!.. Плохо живем!.. Мучаемся!..»

Полицеймейстер. Тише вы! Один будет говорить!

Геронтий. Человек не может работать по шестнадцать часов в сутки. Поэтому рабочие выставляют такие требования: рабочий день не должен превышать десяти часов.

Губернатор. Гм…

Геронтий. Накануне воскресных и праздничных дней работу заканчивать в четыре часа пополудни. Без разбору не штрафовать. Штраф не должен превышать трети жалования. (По-грузински повторяет эти слова.)

Толпа: «Замучили штрафами!»

Климов. Штрафами последнюю рубаху снимают!

Ваншейдт. Это, ваше превосходительство, неправда.

Климов. Как это-неправда?

Толпа: «Как это неправда? Догола раздевают рабочего! Живодерствуют!»

Полицеймейстер. Тише!

Губернатор. Дальше!

Геронтий. Всем поденным прибавить по двадцать копеек. Рабочим, которые возят пустые банки, прибавить на каждую тысячу банок одну копейку. Заготовщикам ручек прибавить десять копеек с тысячи. В лесопильном прибавить двадцать копеек на каждую тысячу ящиков.

Ваншейдт (полицеймейстеру). Нет, вы все это слышите!

Полицеймейстер вздыхает.

Геронтий. И требуем мы еще, чтобы всех уволенных до последнего человека приняли бы обратно.

Ваншейдт (полицеймейстеру). Нет, вы прислушайтесь!

Геронтий. И еще мы требуем, чтобы с нами не поступали как со скотом, чтобы не избивали рабочих. Бьют рабочих на заводе.

Губернатор (Ваншейдту). То есть как?..

Ваншейдт. Я никогда не видел! Этого не может быть… клевета…

Порфирий. Не может быть?..

Климов. А вы посмотрите!

Из толпы выбегает рабочий-грузин, сбрасывает башлык с головы, показывает лицо в кровоподтеках и ссадинах, что-то выкрикивает по-грузински, потом кричит по-русски: «Палкой, палкой!»

Губернатор (Ваншейдту). Э?..

Ваншейдт. В первый раз вижу… может быть, он что-нибудь украл?

Климов. Он щепок взял на растопку! Цена этой растопки на базаре меньше копейки! И его били сторожа, как ломовую лошадь! Все свидетели! Весь цех видел! Били!

Толпа вскричала страшно: «Били! Истязали! Насмерть забивали! Все свидетели!»

Ваншейдт. Я же, ваше превосходительство, не могу отвечать за сторожа… сторожа уволю…

Полицеймейстер. Замолчать!

Послышался полицейский свисток. Толпа стихает.

Губернатор (Геронтию). Все?

Порфирий (выступая вперед и стараясь держаться как можно спокойнее и деловитее). Нет, еще не все. Есть еще одно, последнее требование: когда мы работаем, мы получаем полную плату. Но если на заводе временно не будет для всех работы, то чтобы устроили две смены и чтобы неработающая смена получала половину платы.

Губернатор. Что? Я спрашиваю: что такое? Я ослышался или ты угорел? Э… (Кякиве.) Переведи ему.

Кякива укоризненно вертит пальцами перед лбом, показывая Порфирию, что тот угорел.

Губернатор. Где же это видано?.. Чтобы рабочий не работал, а деньги получал? Я просто… э… не понимаю… (Трейницу.) Где же тут здравый смысл?

Порфирий, поворачиваясь к толпе, говорит раздельно и внятно по-грузински. На лице у него выражение полного удовлетворения, видно, что все козыри у него на руках. Толпа в ответ весело прогудела.

Губернатор (Кякиве). Переведи.

Кякива (конфузясь). Он, я извиняюсь, ваше превосходительство, говорит про ваших лошадей…

Губернатор. Ничего не понимаю! При чем здесь лошади?

Кякива. Он, я извиняюсь, ваше превосходительство, говорит, что, когда вы на лошадях ездите, кормите их, а когда они в конюшне стоят, то ведь тоже кормите. А иначе, говорит, они околеют и вам не на чем будет ездить. А разве, говорит, человек не достоин того, чтобы его все время кормили? Разве он хуже лошади? Это он говорит!

Полное молчание.

Трейниц (полицеймейстеру). Ага. Ну, понятно, чья это выдумка. Не будет добра в Батуме.

Губернатор. Это… это что-то совершенно нелогичное… Возрази ему… то есть переведи… Лошади — лошадями, а люди — это совсем другой, так сказать, предмет. (Порфирию, укоризненно.) Драгоценнейший дружок!.. Переводи!

Кякива (Порфирию). Драгоценнейший дружок!

Губернатор. Что ты, черт тебя возьми, разве так переводят?!

Кякива. Он понимает, ваше превосходительство! «Драгоценнейший дружок» так и будет на всех языках — драгоценнейший дружок!

Губернатор. Пошел вон!

Кякива скрывается за спиной губернатора.

Что такое? (Трейницу.) Я не совсем понимаю, полковник… это какой-то идиот! Неужели жандармское управление не могло найти другого? Это же попугай!

Трейниц (сухо). До сих пор он, ваше превосходительство, работал толково.

Губернатор. Не понимаю-с! (Рабочим.) Нет, друзья мои, это невиданно и неслыханно!

Климов. А Путиловский?

Губернатор. Что Путиловский?

Климов. Когда Путиловский сгорел, покуда новые цеха отстроили, рабочие получали половину жалованья.

Губернатор. Это… э… Путиловский — это Путиловский… а тут это совершенно невозможно. Да-с! Нет, друзья мои, я вижу, что какие-то злонамеренные люди вас смутили, пользуясь вашей доверчивостью… и… требования ваши чрезмерны и нелепы. Насчет избитого будет произведено строжайшее расследование, и, всеконечно, виновный понесет заслуженную кару… а требования ваши… нет… Куда он девался, черт его возьми? (Кякиве.) Что ты стоишь как истукан? Переводи.

Кякива кричит толпе по-грузински. Толпа отвечает по-русски и по-грузински: «Не станем на работу, если требования не будут выполнены!»

Губернатор. Что это они?

Кякива. Они не хотят.

Губернатор. Друзья мои! Как отец обращаюсь к вам, и притом отец родной: прекратите забастовку и станьте на работу! Любя вас всей душой и жалея, говорю.

Кякива переводит эти слова. Толпа отвечает: «Не исполнят требования — не станем на работу!» Гул.

Губернатор. Что они?

Кякива. Они не хотят.

Губернатор. Ах, так? Упорствовать? Ну, так вот что: предупреждаю, что, если завтра, когда дадут гудок, не станете на работу, я вас… по этапу… в Сибирь!

Кякива (кричит рабочим,). Сибирь!

Климов. Сибирью грозите?

Порфирий. Не пугайте, не станем!

Геронтий. Не станем на работу!

Губернатор. Ах вот что! Бунт? (Полицеймейстеру.) Арестовать этих трех подстрекателей! Я вам покажу!

Полицеймейстер (городовым). Берите этих трех!

Климов. Вон оно что! Вон оно как! Товарищи, полюбуйтесь на отца на родного, губернатора! Выманил вперед, а теперь брать!

Геронтий (по-грузински). Обманул нас!

Порфирий. Берите… Берите…

Рабочие: «Обманул губернатор!» Выбегает несколько человек, кричат: «Берите и нас вместе с ними!»

Губернатор. Стражников сюда!

Выбегают несколько человек стражников, бросаются на помощь городовым.

Трейниц (полицеймейстеру). Берите и этих, которые выбежали. Ничего.

Толпа возмущенно кричит. Послышался свист в толпе, ему отвечает свисток одного из городовых.

Губернатор. Вы у меня в Сибири опомнитесь! (Полицеймейстеру.) Лошадей мне!

Темно.

Картина шестая

Серенькое мартовское утро. Широкая улица в Батуме перед зданием пересыльных казарм. Забор с воротами. Груды щебня. На улице полицеймейстер и шеренга городовых. Полицеймейстер бледен, взволнован, глядит то вдаль, то на казармы. Из-за забора казарм слышен говор и гул. А издали слышится приближающийся шум громаднейшей толпы. Городовые испуганы, волнуются. Простучали подкатившие фаэтоны. Выходит Трейниц. С ним — двое жандармов и Кякива.

Трейниц (глядя вдаль). Ого! Слились? Сколько же это их?

Полицеймейстер (глухо). Тысяч пять, а то и все шесть.

Трейниц. Ого!

Полицеймейстер (тревожно). А что же его превосходительство?

Трейниц. Едет. (Глядит вдаль.) Ну, все как полагается… флаги… так, так… и, кажется, чужие есть? Интересно… (Кякиве.) Кто впереди? Не различишь?

Кякива. Не могу разобрать.

Полицеймейстер. С флагом, кажется, ротшильдовский…

Трейниц. Так.

Толпа слышна все ближе и ближе. В ней поют. Слышны слова: «…нам не нужно златого кумира, ненавистен нам царский чертог…» На «Марсельезу» накатывает другая песня.

И «Марсельеза»… (Вглядывается.) А вот там, рядом с флагом… блуза, пальто, шарф… Ведь это, пожалуй, чужой?

Полицеймейстер. Трудно сказать…

Трейниц. Да, чужой, чужой. Полковник, надо будет, как только приблизятся, оторвать передовых и взять их.

Полицеймейстер. Трудно. С одними городовыми не справиться. Плотно идут. Надо войска.

Трейниц. Нет, до войск надо. Надо, полковник.

Полицеймейстер (городовым). Как подойдут, отрезать переднюю шеренгу, взять этих, у флага.

Городовой (с сомнением). Слушаю.

Кякива (Трейницу). Чужой, чужой, вижу теперь.

Трейниц. Ну конечно.

Послышался стук коляски, конский топот, входит губернатор, с ним два казака.

Губернатор (остолбенев при виде надвигающейся толпы). Что же это такое?

Полицеймейстер. Войска бы, ваше превосходительство.

Губернатор. Надо было раньше разрезать их! Э… Как же это допустили?

Полицеймейстер. Ваше превосходительство, шесть тысяч…

Губернатор (казаку). Лети к капитану Антадзе, скажи, чтобы спешно выводил роту сюда, к казармам!

Казак убегает. Толпа подходит с тяжким гулом. Впереди: Хиримьянц с красным флагом, Теофил, Наташа, Миха. Сталин рядом с Хиримьянцем. За ними стеной рабочие, среди них есть женщины.

Сталин (обращаясь к окнам казарм). Здравствуйте, товарищи!

Теофил. Здравствуйте! Мы пришли!

Рабочие: «Мы пришли за вами!» Из окон казарм подошедших увидели, из двора казарм их услышали. Двор отвечает подошедшим криками: «Пришли! Товарищи! Глядите, пришли! Освободите нас! Освободите!»

Трейниц (Кякиве). Он? Как думаешь?

Губернатор (толпе). Что это? Бунт? Убрать флаги! Остановиться!

Сталин. Мы больше никуда и не идем. Мы пришли. Освобождайте арестованных рабочих!

Хиримьянц. Не уйдем без этого!

Рабочие: «Выпустите арестованных». В казармах крики: «Освободите нас!»

Губернатор. Убрать флаги! Разойтись!

Трейниц (губернатору). Ваше превосходительство, попрошу вас немного назад…

Губернатор отступает, Трейниц обращается к полицеймейстеру.

Ну-ка, попробуйте…

Полицеймейстер (городовым). Ну-ка, вперед, берите передних…

Городовые и двое жандармов врезываются в толпу.

Теофил. Куда?! Ах, драться?

Сталин. Не бойтесь их!.

Толпа наваливается на городовых, мнет их.

Теофил. Не бейте их! Не бейте! Только гоните их!

Крик в толпе: «Бей их, проклятых!»

Миха. Что ты делаешь?!

Покатились две полицейские фуражки, с одного из городовых сорвали шашку.

Теофил. Вон отсюда!

Городовые побежали.

Сталин. Вы ничего не сделаете с нами! Освободите арестованных!

В казармах гул.

Губернатор (в смятении отступая). Всех перестреляю!

В это время ветхие ворота казарм начинают трясти изнутри, а издали послышался приближающийся грохот барабанов, а затем солдатская песня:

«Бараан наш громко бьет,

Царский воин шибко идет…»

Приближение войска взволновало толпу. Послышались крики: «Войско идет! Ой, войско идет!» Выбежавшая из толпы женщина кричит Сильвестру по-грузински: «Ой, войско! Стрелять будет!»

Сильвестр (кричит по-грузински). Не посмеют стрелять в безоружных!

Крик в толпе: «Стрелять будут!»

Миха. Не будут стрелять! Стойте крепко!

Рота поет:

«Шел я речкой, камышом,

Видел милку нагишом!..»

Сталин. Товарищи! Нельзя бежать! Стойте тесно, стеной!

Рота поет:

«Шел я с милкою в лесу,

Милку дернул за косу!..»

Иначе солдаты навалятся, озвереют! Прикладами покалечат! Пропадет народ!

Губернатор оборачивается в сторону войск, машет рукой, что-то показывает. Вдали послышались глухо слова: «Рота… стой!» Тотчас песню как будто обрубили. Донесся глухо голос: «Горнист!..» Тогда тоскливо запел вдали рожок. Кякива срывается с места и убегает.

Трейниц (губернатору). Ваше превосходительство! Что вы делаете?! Ведь вы на линии!.. Сюда, сюда!.. (Убегает вместе с губернатором.)

Полицеймейстер (смертельно побледнев, метнулся). Эй! Эй! Эй! Городовые!.. (Убегает вместе с городовыми.)

Вторично спел рожок.

Наташа (вырвавшись из ряда). Солдаты, что вы делаете? Не смейте стрелять!

Сталин. Не смейте стрелять!

Теофил. Не смейте стрелять!

В это время ворота казарм начинают трещать. Отскакивает скобка, ворота то приоткрываются, то закрываются. В них видна спина околоточного без фуражки. Околоточный с кем-то борется. Мелькнули еще две спины городовых, потом лицо Порфирия. Околоточного выталкивают на улицу. В это время в третий раз спел рожок, глухо долетели слова: «Первая шеренга!..» Околоточный оборачивается в ту сторону, откуда слышится рожок, бросается к забору, как бы прилипает к нему. Выбегает рабочий вслед за околоточным, кричит: «Товарищи!», бежит к флагу. За ним выбегают Порфирий, еще двое рабочих, за ними Климов и Геронтий.

Порфирий. Да здравст…

В это мгновенье ударил первый залп вдали. Порфирий падает на колено. Геронтий падает, схватившись за плечо. Наташа, закрываясь рукой как будто от резкого света, бежит к забору, прижимается к нему, рядом с околоточным. Падает ничком и остается неподвижен рабочий рядом с Хиримьянцем. Выпадает из рук Хиримьянца флаг с перебитым древком.

Порфирий (поднимается, кричит тем, что показались в воротах). Назад! Назад! (Хромая, отходит к флагу, грозит кулаком, кричит.) Да сгорит ваше право! Сгорит в аду!

Ударил второй залп, упал рабочий рядом с Теофилом.

Климов (схватываясь за грудь). Ах, это мне?.. Ну, бей, бей, еще!..

В толпе послышался истерический женский крик: «Убивают!»

Климов падает и затихает.

Сталин. Так?.. Так?.. (Разрывает на себе ворот, делает несколько шагов вперед.) Собаки!.. Негодяи!.. (Наклоняется, поднимает камень, хочет швырнуть его, но бросает его, грозит кулаком, потом наклоняется к убитому Климову.)

Хиримьянц, Теофил, Миха схватывают камни, швыряют их.

Сталин (обернувшись к ним, кричит). Не надо! Назад!

Сильвестр (Порфирию). Берись за меня. (Выводит Порфирия.)

Ударил третий залп повыше. Толпа побежала. Сталин оставляет Климова, наклоняется к Геронтию.

Геронтий. Воды дай…

Сталин. Берись этой рукой за шею… Берись! (Поднимает Геронтия, выводит его, кричит Теофилу, который наклонился над убитым рабочим.) Не трогай мертвых! Их поднимут! Уходите скорее!

Хиримьянц, Теофил, Миха скрываются. Вдали пропел рожок, послышался глухо, далеко голос: «Рота!.. Рота, кругом…» Сцена опустела, остаются лежащие неподвижно Климов и двое рабочих.

Околоточный (отделяется от забора, крестится, бормочет). Господи Иисусе… господи…

Наташа (приближается к нему медленно, вцепляется в грудь, рвет с плеч погоны, хватает за горло). Ах ты… ах ты, палач…

Околоточный. Что ты?.. Что ты?.. Пусти! Я не убивал… я не убивал, я не убивал… это капитан Антадзе убивал! А я… пусти!

В это время вбегают Сталин и Сильвестр.

Сильвестр. Наташа, что ты!.. Скорей!

Сталин. Бери ее силой!

Схватывают Наташу и увлекают ее со сцены. Околоточный, крадучись под забором, удаляется. Послышался вдали выкрик: «Марш!», грохнули барабаны, рота запела, удаляясь:

«Барабан наш громко бьет,

Царский воин шибко идет!..

Жить солдату тяжело,

Между прочим, ничего!..»

Занавес

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина седьмая

Батум. Апрельская ночь. В квартире рабочего Дариспана. За столиком сидит Сталин. Лампа с зеленым абажуром. Рядом со Сталиным висит на стуле пальто, лежит фуражка. Перед Сталиным — книга, он читает, делает пометки карандашом. Где-то послышался стук, Сталин поднимает голову, прислушивается.

Дариспан (в дверях). Это Константин. (Скрывается.)

Входит Канделаки.

Сталин. Выкопали?

Канделаки. Выкопали и отвезли. Там не найдут. (Садится.) Но, понимаешь, Coco, я, клянусь богом, в жизни не видел таких беспокойных людей, как эти жандармы. Такие вредные люди, что прямо невозможно работать. Мне сейчас Качахмадзе рассказал, что они у него вчера на кладбище побывали. Говорил, чтобы в течение некоторого времени на кладбище никто носу не показывал бы. Они уж его на заметку взяли. Прямо деваться некуда. Такую суету в жизни вызвали, что немыслимо.

Сталин. Надо и в их положение входить, и им посочувствовать. Жалованье получают, пускай работают.

Пауза.

Канделаки. Coco! У меня мрачные мысли появились. Какое-то нехорошее предчувствие.

Сталин. Да ведь предчувствия иногда обманывают. Они не всегда верные. А что такое?

Канделаки. Эту квартиру, по-моему. Coco, надо менять. Томит меня предчувствие, что они нитку к ней нашли. За типографию теперь я спокоен. А вот квартира мне эта не нравится. Они теперь не успокоятся, они за тобой, как за зверем, будут идти.

Сталин. Завтра утром выдумаем что-нибудь. Куда же сейчас, ночью? Еще хуже можно попасться.

Пауза.

Канделаки. Да, не нравится… ох, не нравится мне Кединский переулок!.. Ну, я пойду в кухню поесть, а то я проголодался. (Выходит.)

Где-то стук, потом глухие голоса.

Дариспан (в дверях). Там этот старик пришел, Реджеб, очень хочет с тобой поговорить. Говорит, на минутку.

Сталин. Ну конечно, зови.

Дариспан уходит. Входит Реджеб.

Здравствуй, Реджеб.

Реджеб. Здравствуй. Я к тебе пришел.

Сталин. Садись, будь гостем.

Реджеб садится. Молчит.

Что скажешь приятного?

Реджеб молчит, вздыхает.

Ты что же, помолчать со мной пришел?

Молчание.

Ну, помолчим еще.

Молчание. Сталин начинает читать.

Ты так, старик, вздыхаешь, что я заплакать могу. Скажи хоть одно слово, зачем меня мучаешь? Ты для чего пришел? Какое горе тебя терзает?

Реджеб. Я вчера важный сон видел.

Сталин. Какой сон?

Реджеб. Понимаешь, будто бы к нам в Зеленый Мыс приехал царь Николай.

Сталин. На дачу?

Реджеб. Конечно, на дачу. И, понимаешь, стал купаться. Снял мундир, брюки, сапоги, все положил на берегу, намылился, и полез в море. А мы с тобой сидим на берегу и смотрим. И ты говоришь: «А он хорошо плавает!» А я говорю: «А как он голый пойдет, если кто-нибудь его мундир украдет? Солдат нету…» А он, понимаешь, поплыл и утонул. И мы с тобой побежали, кричим всем: «Царь потонул! Царь потонул!» И весь народ обрадовался.

Сталин. Хороший сон. Так ты для того из Махинджаури шел в Батум, чтобы мне сон рассказать?

Реджеб. Нарочно для этого шел.

Сталин. Хороший сон, но, что бы он такое значил, я не понимаю.

Реджеб. Значит, что царя не будет и ты всю Абхазию освободишь.

Молчание.

Я тебе скажу, что никакого сна я не видел.

Сталин. Я знаю, что ты не видел.

Реджеб. Я потому сон рассказывать стал, что не знаю, что тебе сказать. Сижу, а выговорить не могу. Меня к тебе наши старики послали, чтобы ты одну тайну открыл.

Сталин. Какую?

Реджеб. Слушай меня. Coco. Я — старик, и ты на меня не обижайся. Все тебя уважают, говорят: модзгвари. Мы, абхазцы, — бедные и знаем, что ты нам хочешь помочь. Но мы узнали, что ты по ночам печатаешь. Ведь печатаешь?

Сталин. Да.

Реджеб. А когда ты их в ход пустишь?

Сталин. Что?

Реджеб. Фальшивые деньги. Наши старики долго ломали головы: что человек тайно печатает? Один старик, самый умный, догадался — фальшивые деньги. И мы смутились. Говорят, хороший человек, но, понимаешь, мы ему деньги помогать печатать не можем. Мы это не понимаем. Меня послали к тебе. Говорят: узнай, зачем печатает? Что, он будет раздавать их народу? Когда будет раздавать? По сколько?

Сталин. Да, дела… Коция!

Канделаки (входит). Что?

Сталин. При тебе есть хоть одна прокламация?

Канделаки. Одна есть.

Сталин. Дай-ка мне ее.

Канделаки дает листок Сталину, уходит.

Вот видишь: эти листки печатаем. Краски нет, это не деньги. А печатаем вот зачем: народу живется очень худо, и, чтобы его поднять против царя, нужно, чтобы все знали, что худо. Но если я начну по дворам ходить и говорить — худо живется, худо живется, — меня, понимаешь ли, в цепи закуют. А это мы раздаем, и тогда все знают. А деньги мы не печатаем, это народу не поможет.

Реджеб (внезапно поднимаясь). До свиданья. Прости, что я тебе заниматься помешал.

Сталин. Нет, ты погоди. Ты, пожалуйста, покажи эту бумажку вашим и объясни.

Реджеб. Хорошо, хорошо.

Сталин. Только осторожно.

Реджеб. Да понимаю я! (Идет к дверям.) Ц… ц… Аллах, аллах… (Останавливается.) Одно жалко, что ты не мусульманин.

Сталин. А почему?

Реджеб. Ты прими нашу веру обязательно, я тебе советую. Примешь — я за тебя выдам семь красавиц. Ты человек бедный, ты даже таких не видел. Одна лучше другой, семь звезд!

Сталин. Как же мне жениться, когда у меня даже квартиры нет.

Реджеб. Потом, когда все устроишь, тогда женим. Прими мусульманство.

Сталин. Подумать надо.

Реджеб. Обязательно подумай. Прощай. (Идет.) Ц… ц… фальшивые деньги… ай, как неприятно! (Выходит.)

Сталин читает.

Канделаки (входит). Этот гимназист пришел, Вано, которого ты звал.

Сталин. Ага…

Канделаки (в дверях). Вот товарищ Coco. Входи. (Скрывается.)

Входит Вано в штатском пальто.

Вано. Я думал, что вы пожилой.

Сталин. Я тебя тоже не знал, но догадался, что ты молодой, потому что сказали, что ты гимназист. Ты в шестом классе?

Вано. В шестом.

Сталин. Садись, закуривай. Я тоже был в шестом классе, но у нас, в семинарии, другое разделение… Кроме того, в силу некоторых причин, я не кончил курса. Работает кружок?

Вано. Работает.

Сталин. Сколько вас человек?

Вано. Двенадцать человек. Старшие классы.

Сталин. Ну конечно, не приготовишки, те от занятий политикой упорно отлынивают. У вас месаме-дасисты работали?

Вано. Да. Но мы хотим с вами объединиться для борьбы.

Сталин. Правильно. Ты читал статью Ноя в «Квали»?

Вано. Читал.

Сталин. Ну, скажи сам, к чему будут годны люди, которых они воспитывают такой литературой? Интеллигентные чернокнижники. Ты знаешь, они ко мне прислали гонца. И он меня уговаривал, чтобы я уехал из Батума. Они говорят, что здесь, в Батуме, невозможно вести борьбу и нелегальную работу. А когда я спросил, почему? — он говорит: рабочие, говорит, темные, а кроме того, улицы хорошо освещены, прямые, все, говорит, видно как на ладони! До чего должен дойти человек, чтобы такую вещь сказать. Выходит, не боритесь, потому что рабочие темные, а улицы светлые! Впрочем, тебе нечего доказывать…

Дариспан (внезапно появляясь). Пастырь, беги!

Канделаки (вбегает). Туда, туда!

Послышался упорный стук с одной стороны, а потом застучали и в другом месте.

И здесь уже!

Сталин (глянув в окно). Поздно. (Обращаясь к Вано.) И ты еще… ах, бедняга! И нужно было, как на грех, тебе сегодня…

Вано. Я не боюсь. Лампу потушить, и в темноте…

Сталин. Что ты? Не трогай! Ну, слушай: прежде всего, не волнуйся, сиди спокойно и держи себя вежливо. Меня ты не знаешь, я — безработный, уроков ищу, вот тебя Канделаки и привел…

Стук становится громче, послышались глухие голоса.

Дариспан. Ну что же, открывать?

Сталин. Открывай.

Дариспан выходит, открывает. Громче застучали с другой стороны, туда идет Канделаки, открывает там. Со стороны кухни появляются околоточный, городовые, полицеймейстер.

Полицеймейстер. Останьтесь так, на местах.

С другого хода — два жандарма, Трейниц и Кякива.

Трейниц (околоточному). Сколько комнат в квартире?

Околоточный. Три комнаты, галерейка и погреб.

Трейниц. Так. (Дариспану, Канделаки, Сталину и Вано.) Прошу вывернуть карманы.

Дариспан. Я не понимаю, почему…

Трейниц. Прошу вывернуть карманы.

Сталин, Канделаки, Вано показывают свои карманы. Жандарм шарит в карманах сталинского пальто.

(Обращаясь к полицеймейстеру.) Прошу, полковник, приступить к обыску. В особенности погреб.

Околоточный с двумя городовыми выходит, за ними один из жандармов. Полицеймейстер выходит с двумя городовыми в соседнюю комнату. Начинается обыск повсюду. Трейниц с несколькими городовыми и жандармом остается в комнате. Также и Кякива. Трейниц садится за стол.

Прошу всех сесть.

Сталин, Канделаки, Вано и Дариспан садятся, возле них четверо городовых. Жандарм становится позади Сталина.

Кто хозяин квартиры?

Дариспан. Я. А что это значит, что в карманах шарят? Кто здесь что украл?

Кякива говорит что-то по-грузински Дариспану. Тот отвечает неприязненно по-грузински же.

Трейниц. Переведи, что он сказал.

Сталин. Я могу перевести вам. Он говорит, что не хочет разговаривать с этим человеком. (Указывает на Кякиву.) Это ему неприятно.

Трейниц (пристально смотрит на Сталина, но ничего ему не говорит и обращается к Дариспану). Кто такой?

Дариспан. Паяльщик на заводе Манташева.

Трейниц. Имя как?

Дариспан. Дариспан.

Кякива. Да, он Дариспан.

Трейниц. Паспорт?

Дариспан вынимает из ящика стола паспорт, кладет на стол. Трейниц обращается к Канделаки.

Ваше имя?

Канделаки. Константин Канделаки.

Трейниц. Ваш паспорт, пожалуйста.

Канделаки. Я потерял паспорт.

Трейниц. Напрасно, напрасно… (Обращается к Вано.) А вы, молодой человек?

Вано. Я — Вано Рамишвили.

Трейниц. Чем занимаетесь?

Вано. Ученик шестого класса Батумской гимназии.

Трейниц. Скажите! Никак нельзя этого подумать, глядя на ваше пальто. Что же, вам, надо полагать, не нравится императорская форма, присвоенная воспитанникам средних учебных заведений? Или выгнали?

Вано. Нет, не выгоняли.

Трейниц. Ну, это не уйдет, скоро выгонят. Ваш билет.

Вано подает билет.

По всему видно, что вы делаете большие успехи в науках. Церкви и отечеству на пользу, родителям же вашим на утешение.

Сталин. Я сперва вас принял за жандармского офицера, но вы, по-видимому, классный наставник.

Трейниц (внимательно и довольно долго смотрит на Сталина, но ничего не отвечает и обращается к Вано). Зачем пришли в эту квартиру? Хорошо знаком с хозяином?

Вано. Нет, я в первый раз здесь.

Полицеймейстер появляется в комнате, ведет обыск.

Трейниц. На огонек, что ли, забежал к незнакомому человеку?

Городовой, шаря в буфете, уронил и разбил тарелку.

Сталин (в это время тихо Канделаки). Выручай мальчишку.

Трейниц (полицеймейстеру). Нельзя ли, полковник, чтобы люди работали поаккуратнее?

Полицеймейстер (городовому). Орясина! На трое суток. Ты что же? Забыл, что на обыске?

Трейниц (Вано). Так зачем же сюда попал?

Канделаки. Это я его привел.

Трейниц. Я его спрашивал, а не вас. Зачем привел?

Канделаки (указывая на Сталина). Вот он приехал безработный искать уроков. Вот я и привел Вано.

Трейниц (глядя на Сталина). Ах, интеллигентный человек? Очень приятно.

Полицеймейстер (городовому). Печку осмотри.

Трейниц (Вано). Почему в цивильном платье?

Вано. Я пальто разорвал под мышкой.

Трейниц. Надо было маме сказать, она бы зашила.

Полицеймейстер (городовому). Пепел есть?

Городовой. Никак нет, ваше высокоблагородие.

Полицеймейстер (Дариспану). Твоя книжка?

Дариспан. Нет.

Сталин. Это моя книжка.

Полицеймейстер (читает). «Философия природы. Перевод Чижова. Сочинение Гегеля». (Кладет книжку Трейницу на стол.)

Трейниц (Сталину). Философией занимаетесь? Смешанное общество в Кединском переулке мы застали, полковник: манташевский паяльщик, другой без документа, подозрительный гимназист и философ. (Сталину.) Итак, с кем имею удовольствие разговаривать?

Сталин (указывая на разгром от обыска). Признаюсь, я этого удовольствия не испытываю.

Кякива (Трейницу). Господин полковник, покорнейше вас прошу, чтобы я с ним не разговаривал.

Трейниц. Что это значит?

Кякива. Язык у него такой резкий, он мне что-нибудь скажет, а я человек тихий…

Трейниц. Это глупости. (Сталину.) Будьте добры, скажите, вы не были девятого марта у здания Ардаганских казарм в толпе, произведшей беспорядки?

Сталин. Я вообще не был девятого марта в Батуме.

Трейниц. Гм… странно… мне показалось, что я вас видел. Впрочем, возможна ошибка. (Кякиве.) А ты видел?

Кякива кивает головой.

Вот и он…

Сталин. Позвольте! Зачем же вы так верите с первого слова? Мало ли что ему могло померещиться? Ведь он же кривой на один глаз!

Кякива (грустно улыбнувшись). Я — кривой…

Трейниц. Так позвольте узнать, кто вы такой?

Сталин. Позвольте мне, в свою очередь, узнать, кто вы такой?

Трейниц. Извольте-с, извольте-с. Помощник начальника Кутаисского губернского жандармского управления полковник Трейниц. Владимир Эдуардович…

Сталин. Благодарю вас, дело не в фамилии, а я хочу узнать, чем вызвано это посещение мирной рабочей квартиры, где нет никаких преступников, полицией и жандармерией?

Трейниц. Оно вызвано тем, что наружность этих мирных квартир часто бывает обманчивой. Разрешите спросить, где вы остановились в Батуме?

Сталин. Я здесь остановился.

Трейниц (указывая на Дариспана). У него?

Канделаки. Нет, у меня.

Трейниц. Ах, вы тоже здесь живете? Позвольте, а вы не жили на Пушкинской улице?

Канделаки. Жил и сюда переехал.

Трейниц. Часто квартиры меняете… (Сталину.) Итак, как ваша фамилия?

Сталин. Нижерадзе.

Трейниц. А имя и отчество?

Сталин. Илья Георгиевич.

Трейниц. Так.

Возвращаются околоточный и городовые, которые делали обыск в погребе.

Околоточный (полицеймейстеру). Ничего не обнаружено.

Трейниц. Ну, это так и следовало ожидать. (Сталину.) Да, простите, еще один вопрос… а впрочем, Иосиф Виссарионович, какие тут еще вопросы… Не надо. По-видимому, от занятий философией вы стали настолько рассеянны, что забыли свою настоящую фамилию?

Сталин. Ваши многотрудные занятия и вас сделали рассеянным. Оказывается, вы меня знаете, а спрашиваете, как зовут.

Трейниц. Это шутка.

Сталин. Конечно, шутка. И я тоже пошутил. Какой же я Нижерадзе? Я даже такой фамилии никогда не слыхал.

Трейниц (полицеймейстеру). У вас все, полковник?

Полицеймейстер. Все.

Трейниц. Все четверо арестованы. (Арестованным.) Предупреждаю на всякий случай: чтобы в дороге без происшествий, конвой казачий. А они никаких шуток не признают.

Сталин. Мы тоже вовсе не склонны шутить. Это вы начали шутить.

Трейниц (жандармам). С Джугашвили глаз не спускать! Марш!

Темно.

Картина восьмая

Прошло более года. Жаркий летний день. Часть тюремного двора, в который выходят окна двух одиночек. Вход в канцелярию. Длинная сводчатая подворотня. Что происходит в подворотне, — из окон тюрьмы не видно. Во дворе появляются несколько уголовных с метлами. С уголовными — первый надзиратель.

Первый надзиратель. Подметайте, сволочи. И чтобы у меня соринки не было, а то вы все это у меня языком вылижете.

Уголовный. Как паркет будет!

Надзиратель уходит.

Пошел ты к чертовой матери вместе со своим губернатором!

Бросает метлу, садится на скамейку, делает затяжку, передает окурок другому уголовному, который начал подметать. Тот затягивается И передает третьему.

Сталин (появляется в окне за решеткой). Здорово.

Уголовный. А! Мое почтение.

Сталин. Какие новости?

Уголовный. Губернатор сегодня будет.

Сталин. Уже знаю.

Уголовный. Ишь ты как!

Сталин. Просьба есть.

Уголовный. Беспокойные вы, господа политические, ей-богу, не можете просто сидеть. То у вас просьбы, то протесты, то газеты вам подай! А у нас правило: сел — сиди!

Сталин. За что сидишь?

Уголовный (декламирует).

…А скажи-ка мне, голубчик,

Кто за что же здесь сидит?

Это, барин, трудно помнить,

Есть и вор здесь, и бандит!

Домушники мы, например.

Сталин. Письмо на волю надо передать.

Уголовный. Сегодня какой хохот у нас в камере стоял! Хватились — глядь, а папиросы кончились! Прямо животики надорвали, до того смешно: курить хочется, а курить нечего.

Сталин. Лови… (Выбрасывает во двор пачечку.)

Уголовный. Данке зер! Ну-ка, от окна отходи! (Усердно подметает.)

Проходит надзиратель, скрывается.

Письмо в пачке?

Сталин. Ну конечно.

Уголовный (хлопнув кулаком по ладони). Марка, штемпель, пошло ваше письмо.

Сталин. Есть еще вопрос. В женском отделении есть одна, по имени Наташа. Сидит в одиночной камере, из Батума недавно переведена. Волосы такие пышные.

Уголовный. Гм… волосы пышные? Понимаем.

Сталин. Тут очень просто понимать: сидит женщина в тюрьме, и все. Так вот, требуется узнать, как она себя чувствует.

Уголовный. Плакать стала.

Сталин. Плакать? (Пауза.) Ты, я вижу, человек очень ловкий и остроумный…

Уголовный. Не заливай, не заливай, мы не горим.

Сталин. Я не заливаю. А просто я тебя наблюдал из окна. Сейчас женщин поведут на прогулку, так ты бы ее научил, чтобы она прошлась здесь, а то она все в том конце, как на зло, ходит. А ты чем-нибудь займи надзирателя.

Уголовный становится грустен, свистит.

Сталин. Лови. (Бросает пачечку.)

Уголовный. Отходи!

Первый надзиратель. А что же вы, бестии, не поливаете?

Проходят три женщины, за ними медленно идет Наташа. Надзиратель проходит.

Уголовный (с лейкой, перед Наташей). Вы, барышня, здесь погуляйте, у этого окошка вам будет очень интересно. Там вас ваш главный спрашивал.

Наташа. Какой главный? Никакого я главного не знаю. Отойдите от меня.

Уголовный. Вы в тюрьме в первый раз, а я, надо вам доложить, в пятый. Домушники наседками не бывают. Наше дело — с фомкой замки проверять. Идите к тому окну. (Уходит.)

Наташа (ему вслед). Шпион проклятый!

Первый надзиратель (появился, смотрит вдаль). Что же вы, сукины дети, крыльцо поливаете? Это чтобы губернатор поскользнулся? (Устремляется вон.)

Наташа присаживается на скамейку.

Сталин (появляется в окне). Что значат, орлица, твои слезы? Неужели тюрьма надломила тебя?

Наташа. Coco?

Сталин. Не называй.

Наташа. Ты здесь? Ты… Я думала, что ты уже в Сибири… ты… эээ?

Сталин. Второй год пошел, как здесь сижу. А ты, говорят люди, плачешь? А? Наташа?

Наташа. Плачу, плачу, сознаюсь. Одна сижу, тоска меня затерзала, вот и плачу.

Сталин. Когда началось?

Наташа. С неделю.

Сталин. Перестань, не плачь, они тебя сжуют… погибнешь… Что хочешь делай в тюрьме, только не плачь!

Наташа. Я повеситься хотела…

Сталин. Что ты?! Своими руками отдать им свою жизнь? Я не слыхал этих слов, а ты их не говорила. Слушай меня: тебе осталось терпеть очень немного. Имей в виду, что и Сильвестра, и Порфирия уже выпустили.

Наташа. Что? Выпустили? Правда?

Сталин. Точно знаю. И тебе, конечно, остались последние дни здесь, в тюрьме. Они за тобой ничего не могут найти. Но заклинаю — не плачь!

Уголовный (появляется). Эй… эй… эй…

Первый надзиратель (как коршун, влетает за ним). Я тебе покажу! Ты что же, мне, стерва, дорогу режешь? (Ударяет уголовного, подбегает к Наташе.) Это что такое? (Бьет Наташу ножнами шашки.)

Уголовный. Эх… сгорели.

Наташа. Не смейте! Не смейте! Он бьет меня!

Сталин (приближает лицо к решетке, взявшись за нее обеими руками). Эй, товарищи! Слушайте! Передавайте! Женщину тюремщик бьет! Женщину тюремщик бьет!

Канделаки (появляется в соседнем окне). Протестуйте, товарищи! Женщину бьют! Женщину бьют! (Стучит металлической кружкой по решетке.)

Крик побежал дальше по тюрьме: «Женщину бьют!»

Уголовный. Ну, теперь пошло!

Первый надзиратель (Сталину). Долой с окна!

Второй надзиратель выбегает, схватывает Наташу за руку.

Наташа. Не трогай меня!

Сталин. Оставь руку, собака!

Канделаки. Смотрите, во дворе женщину истязают! (Выбрасывает в окно свою кружку.)

Сталин выбрасывает в окно кружку,

Уголовный. Так их, так!..

Первый надзиратель. Слезай, стрелять буду!

Сталин. Стреляй.

Первый надзиратель стреляет в воздух. От этого шум разрастается, вся тюрьма кричит, грохочет. Из канцелярии выбегает начальник тюрьмы, за надзиратель.

А ты выстрели в окно.

Наташа. Меня бьют!

Второй надзиратель. Я тебя не трогаю… эээ

Начальник тюрьмы. Прекратить это!

Первый надзиратель (указывая на окно Сталина). Вот, ваше высокоблагородие…

В тюрьме послышались разрозненные голоса: «Отречемся от старого мира!..»

Начальник тюрьмы. Уводите ее скорее отсюда!

Двое надзирателей тащат Наташу.

Наташа. Помогите!

Начальник тюрьмы (надзирателям). За мной!.. (Убегает в тюрьму с надзирателями.)

Появляются уголовные, оставшиеся без надзора.

Уголовный. Что ж, подбавим, чтоб веселей было? (Швыряет кружку в подвальное окно.)

Слышно, как лопнуло стекло.

(Поет, весело приплясывая.)

Царь живет в больших палатах,

И гуляет, и поет!

Уголовные (подхватывают).

Здесь же, в сереньких халатах,

Дохнет в карцерах народ!..

Из подворотни выходит губернатор, адъютант и казак. Уголовный немедленно выстраивает своих в шеренгу.

Губернатор. Что такое здесь?!

Уголовный. Бунт происходит, ваше высокопревосходительство!

Адъютант (тихо). Действительно…

Губернатор. Телефонируйте в Хоперский полк, вызывайте сотню.

Адъютант убегает в канцелярию.

А это что за люди?

Уголовный. Подметалы, ваше высокопревосходительство! (С чувством,)

Чистота кругом и строго!

Где соринка или вошь?

В каждой камере убогой

Подметалу ты найдешь!

Губернатор (механически). Молодцы! (Опомнившись.) Ты мне стихи какие-то сказал? Кто вы такие, политические?

Уголовный. Помилуйте, ваше высокопревосходительство, ничего такого за нами нету. Рецидивисты мы, домушники, ширмагалы, мойщики.

Губернатор. Черт знает что такое!

Уголовный подает засаленную бумагу губернатору.

Губернатор. А это что… э…

Уголовный. Прошение, ваше высокопревосходительство. Курева нет. Припадаем к вам.

Губернатор. Гм… дай сюда.

Выбегает начальник тюрьмы, столбенеет при виде губернатора. Тюрьма начинает стихать.

Что у вас происходит в тюрьме?! В тюремном замке поют, полное безначалие… Меня встречает неизвестный, рапортует почему-то стихами!

Начальник тюрьмы (грозно уголовным). По камерам…

Губернатор. И, должен сказать, единственный человек со светлой головой — этот рецидивист, толково очертивший положение.

Начальник тюрьмы (смягчаясь). По камерам, по камерам…

Уголовный. Кругом марш!.. (Уводит уголовных.)

В это время выходит из тюрьмы Сталин в сопровождении двух надзирателей. Тюрьма затихает.

Губернатор. Кто это такой?

Начальник тюрьмы. Иосиф Джугашвили, ваше превосходительство. Из-за него все и загорелось.

Губернатор. Это что же значит?

Сталин. Надзиратели вызвали беспорядки в тюрьме.

Губернатор. То есть как?! Как же надзиратели могут вызвать беспорядки в тюремном замке?

В это время появляется Трейниц и становится сзади губернатора.

Сталин. Они зверски обращаются с заключенными. Тюрьма требует, чтобы устранили вот этого человека, который сегодня избил заключенную женщину.

Губернатор. То есть как требуют? Как это тюрьма может требовать? А, Владимир Эдуардович, здравствуйте. Вот этот самый, Джугашвили.

Трейниц. Я его хорошо знаю. (Тихо губернатору.) Я специально приехал. Расследование по делу Джугашвили закончено. Самое лучшее было бы перевести его из этой тюрьмы в батумскую, затем останется только ждать высочайшего повеления. Что касается надзирателя, то я полагал бы, что его действительно лучше отстранить и дело разобрать. Это приведет к успокоению.

Губернатор. Вы полагаете?

Адъютант (подходит). Сотня выехала.

Губернатор (Сталину). Мы и без вас разберем дело надзирателя. (Начальнику тюрьмы.) Разобрать дело этого надзирателя и отстранить от службы впредь до выяснения.

Первый надзиратель. Ваше превосходительство…

Губернатор. Молчать.

Сталин. У заключенных есть еще одно требование.

Губернатор. У них не может быть требований, а только прошения.

Сталин. Заключенные требуют, чтобы им была дана возможность купить на свои деньги тюфяки. Люди спят на холодном полу и от этого болеют и мучаются.

Трейниц (тихо губернатору). Эту претензию можно удовлетворить.

Губернатор. Удовлетворить эту претензию! Разрешить им… э… приобрести на рынке за свой счет тюфяки.

Сталин. Товарищи! Администрация удовлетворила требования!

Канделаки (в окне). Товарищи, передавайте! Администрация удовлетворила требования!

Крик передается дальше.

Губернатор. Прошу не делать никаких оповещений.

Трейниц (начальнику тюрьмы). Будьте добры… чтобы вещи его вынесли сюда.

Начальник тюрьмы (надзирателю). Вещи Джугашвили сюда.

Надзиратель убегает.

Губернатор (Сталину). А вас оповещаю: расследование по вашему делу закончено. Вас Переводят в другой тюремный замок, где вы будете пребывать до тех пор, пока не получится о вас высочайшего повеления.

Послышался топот подъехавшей к тюрьме конной сотни.

Владимир Эдуардович, вы возьмете на себя осуществить его перевод?

Трейниц. Конечно, ваше превосходительство.

Губернатор. А как быть с казаками?

Трейниц. Я попрошу сотню отпустить, оставив мне один взвод для конвоя Джугашвили.

Губернатор. Очень хорошо. Ну, я еду. До свиданья, полковник. (Начальнику тюрьмы.) А вам объявляю строгий выговор. Я застал в замке у вас полное безобразие. (Удаляется в сопровождении адъютанта.)

Надзиратель выносит сундучок.

Трейниц (Сталину). Извольте следовать. (Начальнику тюрьмы.) Отправьте, пожалуйста, его к фаэтону.

Начальник тюрьмы делает знак надзирателям. Те выбегают в подворотню и там становятся цепью под стеной.

Сталин (взяв сундучок). Прощайте, товарищи! Меня переводят!

Канделаки (в окне). Прощай! Прощай! Прощай!

Побежал по тюрьме крик: «Прощай!» Один из надзирателей вынимает револьвер, становится сзади Сталина.

Трейниц. Опять демонстрируете?

Сталин. Это не демонстрация, мы попрощались. (Идет в подворотню.)

Начальник тюрьмы (тихо). У, демон проклятый… (Уходит в канцелярию).

Когда Сталин равняется с первым надзирателем, лицо того искажается.

Первый надзиратель. Вот же тебе!.. Вот же тебе за все… (Ударяет ножнами шашки Сталина.)

Сталин вздрагивает, идет дальше. Второй надзиратель ударяет Сталина ножнами.

Сталин швыряет свой сундучок. Отлетает крышка. Сталин поднимает руки и скрещивает их над головой, так, чтобы оградить ее от ударов. Идет. Каждый из надзирателей, с которым он равняется, норовит его ударить хоть раз.

Трейниц появляется в начале подворотни, смотрит в небо.

Сталин (доходит до ворот, поворачивается, кричит). Прощайте, товарищи!

Тюрьма молчит.

Первый надзиратель. Отсюда не услышат.

Трейниц. А что же там вещи разроняли? Подберите вещи.

Первый надзиратель подбегает к сундучку, поднимает его, направляется к воротам. Сталин встречается взглядом с Трейницем. Долго смотрят друг на друга.

Сталин (поднимает руку, грозит Трейницу). До свиданья!

Занавес

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина девятая

До открытия занавеса глухо слышна военная музыка, которая переходит в звон музыкальной шкатулки. Затем он прекращается, и идет занавес. Летний день. Кабинет Николая II во дворце в Петергофе. На одном из окон висит клетка с канарейкой. Музыкальная шкатулка стоит на маленьком столе недалеко от письменного стола. Николай II, одетый в малиновую рубаху с полковничьими погонами и с желтым поясом, плисовые черные шаровары и высокие сапоги со шпорами, стоит у открытого окна и курит, поглядывая на взморье. Потом открывает дверь, выходящую в сад, и садится за письменный стол. Нажимает кнопку звонка. В дверях, ведущих во внутренние помещения, показывается флигель-адъютант.

Николай. Пригласите.

Флигель-адъютант. Слушаю, ваше императорское величество. (Выходит.)

Входит министр, кланяется, в руках у министра портфель.

Николай (приподнимаясь министру навстречу). Очень рад вас видеть, Николай Валерианович, прошу садиться. (Пожимает руку министру.)

Министр садится.

А вы портфель сюда… а то вам будет неудобно. (Указывает на стол.)

Министр кладет портфель на край стола. Николай предлагает министру папиросы.

Прошу вас, курите.

Министр. Благодарствуйте, ваше величество, я только что курил.

Николай. Как здоровье вашей супруги?

Министр. Благодарствуйте, ваше величество, но, увы, не совсем благополучно.

Николай. Ай-яй-яй! А что такое?

Министр. Последний месяц ее беспокоят какие-то боли вот здесь… в особенности по ночам…

Николай. Между ребрами?

Министр. Да.

Николай. Я вам могу дать очень хороший совет, Николай Валерианович. У императрицы были точно такие же боли и совершенно прошли после одного купанья в Саровском прудике. Да я сам лично, искупавшись, получил полное физическое и душевное облегчение.

Министр. Это тот самый прудик, в котором купался святой?

Николай. Да.

Министр. Говорят, что были случаи полного исцеления от самых тяжелых недугов?

Николай. Помилуйте! Я сам на открытии видел, как вереницы людей на костылях (приподнимается, показывает разбитого человека на костылях) буквально ползли к прудику и, после погружения в воду, выходили, отбрасывали костыли и — хоть сейчас в гвардию!

Министр. Мне остается очень пожалеть, что моя жена не могла приехать на открытие мощей.

Николай. Этому горю можно помочь. Императрица захватила с собой оттуда ведра четыре этой воды, и мы ее разлили по пузырькам. И если б вы знали, сколько народу являлось уже к императрице благодарить ее! Я сегодня же попрошу ее, чтобы она послала вашей супруге пузыречек.

Министр. Чрезвычайно обяжете, ваше величество. Только позвольте спросить, каким способом лечить этой водой?

Николай. Просто натереть ею больное место, несильно, а потом завязать старенькой фланелькой. Недурно при этом отслужить и молебен новоявленному угоднику божию преподобному Серафиму, чудотворцу Саровскому.

Министр. Сию секунду. Я запишу, ваше величество. (Записывает сказанное Николаем.) А я ничего этого не знал.

Николай. Не удивительно, что помогает затворник угодник божий. А вот там же, на открытии, мне представили обыкновенного странника. Василий босоногий. Никогда сапог не надевает.

Министр. Неужели и зимой?

Николай. Да. Он мне объяснил, что раз уж снял сапоги, то не надо их надевать никогда. Так вот Владимир Борисович… у него сделались судороги в ноге там же, в Сарове. Доктора ничем не могли помочь, а выкупаться ему было нельзя, потому что он был слегка простужен. И вот этот самый Василий, на моих глазах, исцелил Владимира Борисовича. Велел ему обыкновенные бутылочные пробки нарезать ломтиками, как режут колбасу, и нанизать на ниточку. И это ожерелье надеть на голую ногу, предварительно намазав слюною под коленом. Владимир Борисович пять минут походил с голою ногой, и все кончилось!

Дунул ветер, шевельнул бумаги на столе. Министр кашлянул.

Простите, вы боитесь сквозняка? (Поднимается, чтобы закрыть дверь.)

Министр. Нет, ради бога, не беспокойтесь, ваше величество! (Закрывает дверь.)

Николай. Что же у вас там, в портфеле?

Министр (вынув бумаги). На ваше повеление дело о государственном преступлении, совершенном крестьянином Горийского уезда Тифлисской губернии Иосифом Виссарионовичем Джугашвили.

Николай. Вот так-так! Крестьянин!

Министр. Он, ваше величество, крестьянин только по сословию, землепашеством не занимался. Он проходил курс духовной семинарии в Тифлисе.

Николай. Срам!

Министр. Обвинен в подстрекательстве батумских рабочих к стачкам и в участии в мартовской демонстрации прошлого года в Батуме.

Николай. Какая же это демонстрация?

Министр (поглядывая в бумаги). Шеститысячная толпа рабочих явилась к зданию казарм с требованием освобождения арестованных.

Николай. Ай-яй-яй!

Министр. Толпа была рассеяна войсками.

Николай. Были ли убитые?

Министр (глянув в бумаги). Четырнадцать убитых пятьдесят четыре раненых.

Николай. Это самое неприятное из всего, что мне доложили. Какая часть стреляла?

Министр. Рота 7-го кавказского батальона.

Николай. Этого без последствий оставить нельзя. Придется отчислить от командования командира батальона, и командира роты. Батальон стрелять не умеет. Шеститысячная толпа — и четырнадцать человек.

Министр. Что угодно будет вашему величеству повелеть относительно Джугашвили? (Закашлялся.) Преступление, подобное совершенному Джугашвили, закон карает высылкой в Восточную Сибирь.

Николай. Мягкие законы на святой Руси.

В это время донеслась из Петергофа военная музыка. Канарейка вдруг оживилась, встопорщилась и пропела тенором: «…жавный!..», потом повторила: «…жавный ца…», засвистела и еще раз пропела: «си… жавный!»

Николай. Запела! Целое утро ничего не мог от нее добиться! (Очень оживившись, подходит к клетке и начинает щелкать пальцами и дирижировать.)

Канарейка засвистела.

Николай Валерианович, не в службу, а в дружбу… ей надо подыграть на органчике… будьте так добры, там, на столике… повертите ручку!

Министр подходит к шкатулочке, вертит ручку, шкатулочка играет. Канарейка начинает петь: «Боже, царя храни!», свистит, потом опять поет то же самое; «…боже, царя храни…»

Министр. Поразительно!

Военная музыка уходит.

Что же это за такая чудесная птица?

Николай. Ее презентовал мне один тульский почтовый чиновник. Год учил ее.

Министр. Потрясающее явление!

Николай. Ну, правда, у них там, в Туле, и канарейки какие! (Щелкает пальцами.)

Канарейка: «…бо… ря… ни… ца…», свистит, потом опять налаживается: «храни!.. боже, царя храни…» и наконец, запустив руладу, наотрез отказывается дальше петь. Министр перестает крутить ручку.

Опять что-то в ней заело!

Министр. Все-таки какое же искусство!

Николай. Среди тульских чиновников вообще попадаются исключительно талантливые люди.

Министр. Она поет только первую фразу гимна?

Николай. И то слава богу! Так на чем же мы остановились, Николай Валерианович?

Министр. Срок. Полагается трехлетний.

Николай. Эхе-хе… Ну что же…

Министр. Разрешите формулировать, ваше величество? (Читает по бумаге, правя карандашом.) «На основании высочайшего повеления, последовавшего сего числа июля 1903 года по всеподданнейшему докладу министра юстиции, крестьянин Иосиф Виссарионович Джугашвили, за государственное преступление, подлежит высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции сроком на три года».

Николай. Утверждаю.

Министр. Разрешите откланяться, ваше величество?

Николай. До свиданья, Николай Валерианович, был очень рад повидать вас.

Министр, кашляя, выходит. Оставшись один, Николай открывает балконную дверь, садится за стол, нажимает кнопку. Появляется флигель-адъютант.

Пригласите.

Флигель-адъютант. Слушаю, ваше величество. (Выходит.)

В дверях появляется военный министр Куропаткин, кланяется.

Темно.

Картина десятая

…Из темноты — огонь в печке. Опять Батум, опять в домике Сильвестра. Зимний вечер. С моря слышен шторм.

Порфирий у огня сидит на низенькой скамеечке. Потом встает (он стал чуть заметно прихрамывать) и начинает ходить по комнате, что-то обдумывая и сам с собою тихо разговаривая.

Порфирий (горько усмехнувшись). Она больше Франции… Что ж тут поделаешь… тунгузы… (Подходит к окну.) Вот так ночка… Черт месяц украл и спрятал в карман… Да…

Послышался звук отпираемой ключом двери. Входит Наташа.

Ну что, есть что-нибудь?

Наташа (снимая пальто). Ничего нет ни у кого.

Порфирий. Я так и ожидал. (Пауза.) Надо глядеть правде в глаза. Нет вести ни у кого. И больше никто и никогда от него вестей не получит.

Наташа. Что это значит? Почему?

Порфирий. Потому, Наташа, что он погиб.

Наташа. Что ты говоришь и зачем? Ведь для того, чтобы так сказать, нужно иметь хоть какое-нибудь основание.

Порфирий. Основание у меня есть. Никто так, как я, не знал этого человека! И я тебе скажу, что, куда бы его ни послали, за эти два месяца он сумел бы откуда угодно подать весть о себе. А это молчание означает, что его нет в живых.

Наташа. Что ты каркаешь, как ворон? Почему непременно он должен был погибнуть?

Порфирий. Грудь… у него слабая грудь. Они знают, как с кем обойтись: одних они хоронят, прямо в землю зарывают, а других в снег! А ты не знаешь, что такое Сибирь. Эта Иркутская губерния больше, чем Франция! Там в июле бывает иногда иней, а в августе идет снег! Стоило ему там захворать, и ему конец. Я долго ломал голову над этим молчанием, и я знаю, что говорю. Впрочем, может быть и еще одно: кто поручится, что его не застрелили, как Ладо Кецховели, в тюрьме?

Наташа. Все это может быть, но мне больно слушать. Ты стал какой-то малодушный. Что ты все время предполагаешь только худшее? Надо всегда надеяться.

Порфирий. Что ты сказала? Я малодушный? Как у тебя повернулся язык? Я спрашиваю, как у тебя повернулся язык? Кто может отрицать, что во всей организации среди оставшихся и тех, что погибли, я был одним из самых боевых! Я не сидел в тюрьме? А? Я не был ранен в первом же бою, чем я горжусь? Тебя не допрашивал полковник Трейниц? Нет? А меня он допрашивал шесть раз! Шесть ночей я коверкал фамилию Джугашвили и твердил одно и то же — не знаю, не знаю, не знаю такого! И разучился на долгое время мигать глазами, чтобы не выдать себя! И Трейниц ничего от меня не добился! А ты не знаешь, что это за фигура! Я не меньше, чем вы, ждал известий оттуда, чтобы узнать, где он точно! Я надеялся… почему? Потому что составлял план, как его оттуда добыть!

Наташа. Это был безумный план.

Порфирий. Нет! Он безумным стал теперь, когда я всем сердцем чувствую, что некого оттуда добывать! И сказал я тебе это для того, чтобы мы зря себя не терзали. Это бесполезно.

Послышался тихий стук в окно.

Кто же это может быть? Отец стучать в окно не станет. (Подходит к окну.)

Наташа. Кто там?

Порфирий. Такая тьма, не разберу…

Наташа (глядя в окно). Солдат не солдат… Чужой…

Порфирий. Ах, чужой… Тогда это нам не надо. Я знаю, какие чужие иногда попадаются. Опытные люди! Погоди, я спрошу. (Уходит из комнаты. Послышался глухо его голос.) Что нужно, кто там?

Сталин (очень глухо, неразборчиво, сквозь вой непогоды). Сильвестр еще здесь живет?

Порфирий (глухо). Но его нету дома. А кто вы такой?

Сталин. А Наташу можно позвать?

Порфирий. Да вы скажите, кто спрашивает?

Сталин. А кто это говорит?

Порфирий. Квартирант.

Сталин. А Порфирия нету дома?

Порфирий. Да вы скажете, кто вы такой, или нет?

Сталин умолкает. Послышались удаляющиеся шаги.

Наташа (смотрит в окно). Постой, постой, постой! Что ты делаешь? (Срывается с места.)

Порфирий выбегает ей навстречу из передней.

Порфирий. Что такое?

Наташа (убегая в переднюю). Да ты глянь!..

Порфирий подбегает к окну, всматривается. Брякнул крючок, стукнула дверь в передней. Наташа выбежала из дому. Ее голос послышался глухо во дворе.

Постой! Остановись, вернись!

Порфирий (некоторое время смотрит в окно, потом пожимает плечами). Не разберу… (Идет к передней.)

Из передней входят Наташа и Сталин. Сталин в солдатский шинели и фуражке.

Наташа. Смотри!

Порфирий. Этого не может быть!.. Coco!..

Сталин. Здравствуй, Порфирий. Ты меня поверг в отчаяние своими ответами. Я подумал, куда же я теперь пойду?

Порфирий. Но, понимаешь… понимаешь, я не узнал твой голос…

Наташа (Сталину). Да снимай шинель!

Порфирий. Нет, постой! Не снимай! Не снимай, пока не скажешь только одно слово… а то я с ума сойду! Как?!

Сталин. Бежал. (Начинает снимать шинель.)

Порфирий. Из Сибири?! Ну, это… это… я хотел бы, чтобы его увидел только один человек, полковник Трейниц! Я хотел бы ему его показать! Пусть он посмотрит! Через месяц бежал! Из Сибири! Что же это такое? Впрочем, у меня было предчувствие на самом дне души…

Наташа. У тебя было предчувствие? На дне души? Кто его сейчас хоронил, только что вот? (Сталину.) Он тебя сейчас только похоронил здесь, у печки… у него, говорит, грудь слабая…

Сталин идет к печке, садится на пол, греет руки у огня.

Сталин. Огонь, огонь… погреться…

Порфирий. Конечно, слабая грудь, а там — какие морозы! Ты же не знаешь Иркутской губернии, что это такое!

Сталин. У меня совершенно здоровая грудь и кашель прекратился…

Теперь, когда Сталин начинает говорить, становится понятным, что он безмерно утомлен.

Я, понимаете, провалился в прорубь… там… но подтянулся и вылез… а там очень холодно, очень холодно… И я сейчас же обледенел… Там все далеко так, ну, а тут повезло: прошел всего пять верст и увидел огонек… вошел и прямо лег на пол… а они сняли с меня все и тулупом покрыли… Я тогда подумал, что теперь я непременно умру, потому что лучший доктор…

Порфирий. Какой доктор?

Сталин. А?.. В Гори у нас был доктор, старичок, очень хороший…

Порфирий. Ну?

Сталин. Так он мне говорил: ты, говорит, грудь береги… ну, я, конечно, берегся, только не очень аккуратно… И когда я, значит, провалился… там… то подумал: вот я сейчас буду умирать. Конечно, думаю, обидно… в сравнительно молодом возрасте… и заснул, проспал пятнадцать часов, проснулся, а вижу — ничего нет. И с тех пор ни разу не кашлянул. Какой-то граничащий с чудом случай… А можно мне у вас ночевать?

Наташа. Что же ты спрашиваешь?

Порфирий. Как же ты спрашиваешь?

Сталин. Наташа, дай мне кусочек чего-нибудь съесть.

Наташа. Сейчас, сейчас, подогрею суп…

Сталин. Нет, нет, не надо, умоляю! Я не дождусь. Дай чего-нибудь, хоть корку, а то, ты знаешь, откровенно, двое суток ничего не ел…

Порфирий (бежит к буфету). Сейчас, сейчас, я ему дам… (Вынимает из буфета хлеб и сыр, наливает в стакан вино.) Пей.

Сталин, съев кусок и глотнув вина, ставит стакан и тарелку на пол, кладет голову на край кушетки и замолкает.

Наташа. Coco, ты что? Очнись…

Сталин. Не могу… я последние четверо суток не спал ни одной минуты… думал, поймать могут… а это было бы непереносимо… на самом конце…

Порфирий. Так ты иди ложись, ложись скорей!

Сталин. Нет, ни за что! Хоть убей, не пойду от огня… пусть тысяча жандармов придет, не встану… я здесь посижу… (Засыпает.)

Порфирий. Что же с ним делать?

Наташа. Оставь! Оставь его! Отец вернется, вы его тогда сонного перенесете.

Порфирий. Ага… Ну, хорошо…

В это время слышно, как открывают входную дверь.

Вот отец! Только молчи, ничего не говори! Стой здесь!

Сильвестр (входит, всматривается). Что?!

Пауза.

Вернулся?..

Порфирий. Вернулся!

Занавес

Конец

24 июля 1939 года

КОММЕНТАРИИ

Батум

Замысел историко-биографической пьесы о Сталине Булгаков обдумывал с 1935 года, когда в печати появились сведения о раннем периоде деятельности Сталина в Закавказье и постоянных политических преследованиях со стороны властей. 7 февраля 1936 года Е. С. Булгакова записала в своем дневнике: «…Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине» (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед. хр. 25). В конце 1935 — начале 1936 года, когда несколько спала огромная волна репрессий, связанных с «кировским» делом, в обществе и среди умеренной части политического руководства страной еще сохранялись надежды на демократический поворот, и Сталин умело воспользовался этими ожиданиями, возглавив новую Конституционную комиссию, с деятельностью которой были связаны определенные демократические обещания сверху и напрасные иллюзии снизу.

Летом 1936 года Н. И. Бухарин напечатал одну из своих последних политических статей, в которой прозорливо заметил: «Сложная сеть декоративного обмана (в словах и в действиях) составляет чрезвычайно существенную черту фашистских режимов всех марок и оттенков» (Известия, 1936, 6 июля). Искусством декоративного обмана к середине 1930-х годов Стали овладел в совершенстве, и в расставленную им сеть запутались многие крупные умы — не только внутри страны, но и в круга прогрессивной общественности на Западе.

18 февраля 1936 года Булгаков разговаривал с директором МХАТа и сказал, что «единственная тема, которая его интересует для пьесы, это тема о Сталине» (ГБЛ, ф. 562, к. 2, ед. хр. 25). Трудно сказать, какой именно сюжет о вожде обдумывал тогда Булгаков, но его прежние исторические пьесы как раз в это время были снова подвергнуты официальному осуждению. На сцене МХАТа погибал «Мольер». В Театре сатиры в это время готовилась к выпуску новая комедия Булгакова «Иван Васильевич», ее ждала та же печальная участь.

12 мая 1936 года Е. С. Булгакова записала, что Михаил Афанасьевич «сидит над письмом к Сталину». Текст письма Булгакова к Сталину 1936 года пока неизвестен; неясно, было ли это письмо дописано, отправлено или уничтожено автором, но причины для нового обращения наверх у него были: после исключения «Мольера» из репертуара МХАТа Булгаков решил уйти из театра, в который он поступил благодаря личному вмешательству Сталина. Теперь он должен был по крайней мере объяснить причины своего отказа от этой милости, прежде чем перейти на предложенную штатную должность либреттиста в Большой театр СССР.

Писать пьесу о Сталине в 1936 году Булгаков не стал. 1937 год также не прибавил ни желания, ни возможности заняться вплотную этим замыслом. В начале 1938 года Булгакова побудили взяться за новое письмо к Сталину уже не личные дела, а чрезвычайные обстоятельства, связанные с судьбой его близкого друга Н. Р. Эрдмана, репрессированного в 1934 году и отбывшего трехлетнюю ссылку в Сибири. В один из самых тяжелых для страны моментов, незадолго до открытого процесса над Бухариным и Рыковым, когда потрясенная террором Москва окоченела от страха, Булгаков рискнул заступиться за друга перед Сталиным. В письме к нему от 4 февраля 1938 года Булгаков просил, в частности, о том, чтобы Эрдману «была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения».

Решающий толчок к возобновлению замысла пьесы о Сталине был дан визитом друзей Булгакова из Художественного театра — П. А. Маркова и В. Я. Виленкина, которые посетили Булгаковых 9 сентября 1938 года. На следующий день Е. С. Булгакова записала в своем дневнике: «Пришли после десяти и просидели до пяти утра. Вначале — убийственно трудный для них вечер. Они пришли просить Мишу написать пьесу для МХАТа.

— Я никогда не пойду на это, мне это невыгодно делать. Это опасно для меня. Я знаю все наперед, что произойдет. Меня травят, — я даже знаю кто — драматурги, журналисты… Потом Миша сказал им все, что он думает о МХАТе в отношении его, — все вины, все хамства. Прибавил — но теперь уже все это прошлое, я забыл и простил. Но писать не буду.

Все это продолжалось не меньше двух часов. И когда около часу мы пошли ужинать, Марков был черно — мрачен.

За ужином разговор как-то перешел на обще-мхатовские темы, и тут настроение у них поднялось. Дружно возмущались Егоровым.

А потом опять о пьесе.

Театр гибнет — МХАТ, конечно. Пьесы нет. Театр показывает только старый репертуар. Он умирает, и единственное, что может его спасти и возродить, это современная замечательная пьеса; Марков это назвал „Бег“ на современную тему, т. е. в смысле значительности этой вещи — „самой любимой в театре“.

„И, конечно, такую пьесу может дать только Булгаков“, — говорил долго, волнуясь, по-видимому, искренно.

„Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине?“ Миша ответил, что очень трудно с материалами, нужны — а где достать?

Они предлагали и материалы достать через театр, и чтобы Немирович написал письмо Иосифу Виссарионовичу с просьбой о материале.

Миша сказал, — это очень трудно, хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы. От письма Немировича отказался. Пока нет пьесы на столе, говорить и просить не о чем» (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед. хр. 27, л. 5–6).

И в своих обращениях к Сталину, и в замысле пьесы о начале его восхождения Булгаков исходил из факта, осознанного далеко не сразу и далеко не всеми его современниками, что в лице Сталина сложился новый абсолютизм, не менее полный, чем во времена Людовика XIV или Ивана Грозного, и, конечно, гораздо более всевластный и всепроникающий, чем в старые феодальные времена. По иронии истории этот факт, еще в зародыше замеченный Лениным на пятом году революции, в полной мере обнаружился через полтора десятка лет, к 20-летию Октября. Демократическая конституция 1936 года в момент ее провозглашения оказалась лишь ширмой возродившегося через репрессии абсолютизма.

Выступая перед железнодорожниками Тифлиса в 1926 году, Сталин указал на три «боевых крещенья», которые он прошел в революции, прежде чем стал тем, кто он есть: «От звания ученика (Тифлис), через звание подмастерья (Баку) к званию одного из мастеров нашей революции (Ленинград) — вот какова, товарищи, школа моего революционного ученичества» (Сталин И. В. Соч., т. 8. М., 1948, с. 175).

Звание «одного из мастеров революции», за которым Сталин еще в 1926 году должен был скрывать свои честолюбивые притязания на абсолютную и безраздельную власть, уже через десять лет, к 1936 году, совершенно не устраивало всевластного «вождя». Да оно и фактически не соответствовало реальному положению диктатора, осуществившего после XVII съезда партии необъявленный государственный переворот. Направленный против всех реальных и потенциальных противников Сталина, которые, как и он, еще совсем недавно принадлежали к высшей партийно-государственной когорте «мастеров революции», этот разгром старого ленинского ядра в партии и высшего комсостава Красной Армии утвердил сталинскую диктатуру на многие годы.

Особенность сталинского «термидора» 1930-х годов заключалась в том, что он был проведен «сверху» с помощью новой партийной бюрократии, поддержавшей Сталина, и карательных органов ОГПУ-НКВД при нейтрализации армии, а затем и прямом терроре против нее. Этот колоссальный по своим масштабам переворот совершался под лозунгами укрепления диктатуры пролетариата и победы социализма в СССР над его последними классовыми врагами. Он сопровождался изощренной социальной демагогией и прямым обманом всех слоев советского общества снизу доверху.

Предложение от руководства МХАТа написать пьесу о Сталине, при всей его рискованности, оставалось для Булгакова едва ли не единственной возможностью вернуться к литературному труду на правах исполняемого драматурга и публикуемого автора. Искушение было большим, но Булгаков не был бы Булгаковым, если бы взялся исполнить этот заказ в качестве холодной платы за отнятое у него право беспрепятственно трудиться и печататься. На пути приспособленчества никакой удачи, даже чисто внешней, деловой, для него не могло быть — это автор «Багрового острова» и «Мольера» понимал лучше, чем кто-либо другой из его современников.

«В отношении к генсекретарю возможно только одно — правда, и серьезная», — утверждал Булгаков еще в 1931 году в письме к В. В. Вересаеву. И он остался на той же позиции в конце 1938 года, когда проблема литературного изображения Сталина в качестве героя пьесы встала перед ним практически. Решение Булгакова не было проявлением малодушия или обдуманной сделкой с совестью, как это иногда пытаются доказать. Проблема всерьез интересовала его. Сталин был адресатом нескольких важнейших личных писем Булгакова; свой единственный разговор с писателем по телефону в 1930 году Сталин, по словам Булгакова, провел «сильно, ясно, государственно и элегантно». Второго обещанного разговора Булгаков так и не дождался до конца жизни. И стремление разгадать психологию, завязку характера, а может быть, и тайну возвышения Сталина не оставляло его в течение многих лет.

Интуиция драматурга подсказала Булгакову наименее стандартный выбор из возможных в обстановке официальных восхвалений и сложившихся литературных канонов изображения вождя. Обдумывая сюжет из биографии своего героя, Булгаков обратился совсем не к тем временам, когда Иосиф Джугашвили стал уже Иосифом Сталиным, заметной фигурой в партии большевиков, одним из влиятельных политиков центрального большевистского штаба, — а затем и единоличным хозяином нового государства.

Ограничив время действия своей пьесы ранним тифлисским и батумским периодом из жизни Сталина (1898–1904), то есть периодом «ученичества» по его собственному определению, Булгаков написал произведение о молодом революционере начала века, об инакомыслящем, исключенном из духовной семинарии за крамольные взгляды, об организаторе антиправительственной демонстрации и политическом заключенном батумской тюрьмы, поднявшем бунт против жестокостей тюремного режима.

Но почему же тогда именно этот человек, вознесенный на вершину политической власти революционной волной, безжалостно устранив основных соперников, обрек на позорную смерть почти всех членов первого ленинского правительства, взявшего в свои руки управление Советской Россией после Октября 1917 года?

Почему жестокость советских тюрем и лагерей времен Ягоды, Ежова и Берии превзошла все, что знала история самодержавной России за многие времена, начиная с Ивана Грозного и кончая Николаем II? Почему можно отправить в Сибирь в политическую ссылку, сроком на три года отнюдь не политического бунтовщика, каким был, например, в 1902 году Иосиф Джугашвили, известного драматурга и литератора Николая Эрдмана, имевшего неосторожность сказать нечто в присутствии осведомителей при которых говорить что-либо вообще не следует?

Эти и многие другие вопросы не вмещались в сюжет булгаковской пьесы о молодом Сталине, но их с возрастающей непреложностью ставило то страшное время, когда создавалась эта странная биографическая пьеса, предназначенная для юбилейного спектакля МХАТа к 60-летию Сталина. Сюжет «Батума» оказался в прямом соседстве с проблемами, о которых в конце 1930-х годов было очень опасно говорить, но о которых нельзя было не думать.

Ответ самого Булгакова на опасные вопросы, невольно возникавшие при знакомстве с мужественным арестантом батумской тюрьмы и удачливым беглецом из сибирской ссылки, не лежал на поверхности пьесы, а был заключен в конкретных подробностях воссозданной им драматической ситуации и в том резком контрасте, который являли собой молодой Coco из Батума и сегодняшний Сталин в Кремле.

16 января 1939 года Е. С. Булгакова отметила в дневнике: «Миша взялся после долгого перерыва за пьесу о Сталине. Только что прочла первую (по пьесе — вторую) картину. Понравилось ужасно! Все персонажи живые». Через день, 18 января:

«И вчера и сегодня Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих картин положения, образы, изучает материалы» (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед. хр. 28).

В начале работы над рукописью у Булгакова быстро сложился основной план всей пьесы: батумская демонстрация и ее расстрел становится центральным событием (картина шестая «Батума»), ему предшествуют обстоятельства появления Сталина в Батуме в конце 1901 года, организация на основе рабочих кружков Батумского социал-демократического комитета; пожар, а затем забастовка на заводе Ротшильда, действия военного губернатора по подавлению забастовки и аресту ее руководителей. Этот акт со стороны властей и привел в марте 1902 года к политическому возмущению батумских рабочих. Развитием политической линии пьесы явились последующие картины ареста Сталина на конспиративной квартире, сцены его пребывания в батумской тюрьме, где вспыхивает бунт политических заключенных. Прологом этих событий стала картина исключения ученика шестого класса Иосифа Джугашвили из духовной семинарии в Тифлисе, относящаяся по времени к 1898 году, а эпилогом всей хроники — возвращение Сталина в Батум зимой 1904 года после побега из сибирской ссылки.

Первоначальное название пьесы — «Пастырь» — Булгаков почерпнул из перечня партийных кличек Сталина, записанных в его рабочей тетради: Давид, Коба, Нижерадзе, Чижиков, Иванович, Coco, Пастырь (под двумя последними кличками Сталин как раз и работал в Батуме).

Один из вариантов названия пьесы, записанный в тетради рукою Е. С. Булгаковой, — «Дело было в Батуме» — ближе всего к окончательному, локальному названию «Батум». Это последнее, самое сдержанное, не заключает в себе никакого оценочного момента и характеризует лишь время и место действия, подчеркивая установку автора на строгую историческую достоверность основного драматического происшествия.

В работе над сюжетом «Батума» Булгаков опирался на опыт своих прежних историко-биографических пьес «Кабала святош» и «Александр Пушкин», при создании которых он — широко использовал мемуарные свидетельства и исторические документы. Для пьесы о Сталине требовалась не менее прочная документальная основа, которой Булгаков, конечно, не располагал в необходимом объеме. Тем не менее каждая картина пьесы основана на реальном, исторически засвидетельствованном факте, а уже в рамках действительного события создается вымышленная жанровая или политическая сцена, диалоги и поступки лиц, раскрывающие смысл и характер события, его связь с предшествующим и последующим звеном драматического действия.

Одним из важнейших документальных источников пьесы «Батум» стала большая книга «Батумская демонстрация 1902 года», выпущенная в марте 1937 года Партиздатом ЦК ВКП(б) с предисловием Л. Берия.

Книга была издана в Москве молнией за рекордно короткий срок: сдана в производство 10 марта, подписана к печати 15–17 марта, выпущена в свет 20 марта 1937 года. Совершенно очевиден культовый характер книги, имевшей своей главной целью прославление Сталина и провозглашение его особо выдающейся роли в организации рабочего движения на Кавказе. Как свидетельствует экземпляр, сохранившийся в архиве Булгакова, он внимательнейшим образом проработал книгу «Батумская демонстрация 1902 года» и оставил в ней множество помет и подчеркиваний.

Первый раздел книги — «Ленинская „Искра“ о революционном движении батумских рабочих» — не содержит ни единого упоминания о Сталине, но дает достаточно объективную хронику батумских событий с февраля по октябрь 1902 года. Здесь перепечатаны статьи и заметки «Искры» «Забастовка рабочих на заводах Манташева и Ротшильда в Батуми», «Батумский процесс», «Годовщина расстрела батумских рабочих» и др. В числе руководителей рабочих «Искра» назвала Михаила Харимьянца и Теофила Гогиберидзе — оба они вошли в круг действующих лиц пьесы «Батум».

Практически все действующие лица пьесы, представляющие администрацию военного губернатора, жандармское отделение. и военный гарнизон, брошенный против забастовщиков, были взяты Булгаковым из хроникальных заметок «Искры». В их числе: кутаисский военный генерал-губернатор Смагин (в списке действующих лиц — военный губернатор), жандармский полковник Зейдлиц (у Булгакова — Трейниц), полицеймейстер Ловен (в черновой редакции пьесы действует под своей фамилией, в окончательном тексте — полицеймейстер), переводчик Какива (у Булгакова — Кякива) и т. д.

Как один из участников и организаторов мартовской политической демонстрации рабочих Батума, Сталин проходил по судебному процессу 1902 года и был приговорен к ссылке в Восточную Сибирь на три года. Официальными документами этого судебного политического процесса, кроме приговора, Булгаков не располагал, и он мог опираться в данном случае лишь на воспоминания и свидетельства немногих живых участников и очевидцев тех далеких событий.

В распоряжении драматурга оказалось достаточно много подробностей и свидетельств, взаимно дополнявших и корректировавших друг друга. Рабочие, окружающие Сталина в пьесе «Батум», в большинстве случаев действуют под своими собственными фамилиями и именами. Это прежде всего Сильвестр Ломджария (в пьесе — Сильвестр), Порфирий Ломджария (в пьесе — Порфирий), Михаил Габуния (в пьесе — Миха), Теофил Гогиберидзе (в пьесе — Теофил), Котэ Каландаров (в пьесе — Котэ), Коция Канделаки (в пьесе — Канделаки), Сильвестр Тодрия (в пьесе — Тодрия), Дариспан Дарахвелидзе (в пьесе — Дариспан), Михаил Харимьянц (в пьесе — Хиримьянц), Наталья Киртадзе-Сихарулидзе (в пьесе — Наташа).

Булгаков превратил основных мемуаристов из книги 1937 года в действующих лиц своей пьесы, сохранив за ними те конкретные роли, которые они играли в батумских событиях. По сути же драматург сочинил заново каждое действующее лицо на основе реальных свидетельств, почерпнутых из их сообщений. И при этом каждому эпизодическому персонажу из среды рабочих отвел ровно столько места, сколько необходимо для развития действия пьесы и конкретизации характера ее главного сквозного героя — молодого Сталина.

На мрачном фоне ежовщины, ужаснувшей людей конца 1930-х годов масштабами подавления личности, Булгаков в пьесе «Батум» решился поставить Сталина в положение бесправного политического заключенного, вступающего в неравную борьбу против тюремного произвола и грубого (по меркам начала XX века) злоупотребления властью, характерного для всякого полицейского государства, а для русской самодержавной традиции в особенности.

Безупречное поведение «ученика революции» в этих обстоятельствах могло бы послужить примером того, как надо отвечать на жестокость, насилие и издевательство над достоинством человека со стороны репрессивной государственной машины. Вопрос заключался в том, как будет воспринят и понят прямой исторический урок тридцать пять лет спустя, когда социальные роли переменились и бывший бесправный арестант, «узник совести», сам сосредоточил в своих руках необъятную власть, заняв высшую точку громадной партийно-государственной пирамиды.

При таком взгляде на единовластие в его старой, царистской, и новой, псевдосоциалистической, форме в сюжете «Батума» можно обнаружить еще один пласт содержания, объективно заложенного в пьесе, но проясняющегося лишь на контрасте «батумской» и «московской» эпох биографии Сталина. Этот контраст обнаруживает, что Сталин был не только «учеником революции», тех батумских и тифлисских рабочих, среди которых он проповедовал радикальные антимонархические и большевистские взгляды, но прежде всего выучеником репрессивного аппарата русского самодержавия, с которым он имел дело на практике и от которого он усвоил на собственном опыте азы беззакония, жестокости, провокаторства, нравственного цинизма, привычку полагаться в борьбе с политическими и личными противниками только на беспощадную и грубую силу.

Изучая книгу «Батумская демонстрация 1902 года», Булгаков обратил внимание на одну существенную подробность, имеющую прямое отношение ко времени действия его пьесы. Автор заметки «Организатор революционных боев батумских рабочих» Доментий Вадачкория, вспоминая о Сталине, сообщил следующий факт: У «Помню рассказ товарища Coco о его побеге из ссылки. Перед побегом товарищ Coco сфабриковал удостоверение на имя агента при одном из сибирских исправников. В поезде к нему пристал какой-то подозрительный субъект-шпион. Чтобы избавиться от этого субъекта, товарищ Coco сошел на одной из станции, предъявил жандарму свое удостоверение и потребовал от него арестовать эту „подозрительную“ личность. Жандарм задержал этого субъекта, а тем временем поезд отошел, увозя товарища Coco…» (Батумская демонстрация 1902 года. М., 1937, с. 140).

Это поразительное сообщение в официальной книге 1937 года — к тому же со слов самого Сталина! — наводило на далеко идущие размышления, и Булгаков резко отчеркнул на полях это место красно-синим карандашом. Сообщение нуждалось в проверке и всестороннем анализе.

Что же означало это признание, кроме восторга по поводу необыкновенной находчивости товарища Coco, так ловко освободившегося от докучливого внимания «подозрительной личности»?

А означало оно, что, пробыв в первой сибирской ссылке чуть больше месяца, Сталин успешно бежал из нее в январе 1904 года с удостоверением агента охранки одного из сибирских исправников.

Существенный вопрос заключается в том, был ли полицейский документ на имя И. Джугашвили, лежавший в его кармане, действительно сфабрикован или это был подлинный документ, который его владелец при необходимости мог использовать в деле, нисколько не опасаясь возможного разоблачения?

Первая версия, что Сталин был лжеагент одного из сибирских исправников и пользовался агентурным удостоверением, собственноручно сфабрикованным (версия, открыто заявленная в официальном издании 1937 года Партиздата ЦК ВКП(б)), наталкивается на серьезную техническую преграду: как мог молодой арестант из Батума, доставленный под военным конвоем в глухой сибирский поселок Иркутской губернии и находившийся под строгим надзором полиции, «сфабриковать» секретнейший полицейский документ — личное агентурное удостоверение на свое имя, тогда как каждый бланк такого удостоверения находился на особом строгом счету и был доступен лишь для высших чинов губернского жандармского управления?

Не вернее ли предположить, что, если молодой Сталин действительно пускал в ход свое агентурное удостоверение и даже, пользуясь им, мог отдавать приказы дежурным жандармам на железной дороге, то это удостоверение было не «сфабрикованное», а настоящее, подлинное, которое в особых случаях выдавалось арестантам, вступавшим в тайное соглашение с охранкой и переходившим к ней на постоянную службу в качестве осведомителей.

Примеры такого перехода из революционного подполья в подполье полицейское, увы, случались не раз. Эрозия политического провокаторства глубоко проникала в революционные партии, достигая порой самых высших этажей центрального руководства, — достаточно вспомнить фигуру Азефа среди эсеров или Малиновского у большевиков, долго и «успешно» работавших на обе стороны — и на революцию и на охранку.

Подозрения по поводу связей Сталина с царской охранкой не раз возникали среди политкаторжан и высказывались в печати за рубежом — повод для подозрений давали повторявшиеся и неизменно удачные побеги Сталина из ссылки и крупные провалы подпольных организаций, с которыми он был связан. И все же прямых документов и доводов, подтверждающих подозрения такого рода, недоставало.

С выходом книги «Батумская демонстрация 1902 года» версия о возможном политическом провокаторстве Сталина, вопреки намерениям составителей этой книги, получила новые косвенные подтверждения. Невозможно предположить, что сообщение Д. Вадачкория о «сфабрикованном» агентурном удостоверении Сталина, с которым он вернулся из ссылки, появилось в книге случайно, по авторскому недомыслию или редакционной оплошности. Такого рода подробности из биографии Сталина в советской печати 1937 года «случайно» не сообщались.

Сомнительная версия о «сфабрикованном» удостоверении И. Джугашвили, ловко разыгравшего при побеге из ссылки роль тайного агента перед жандармом на какой-то станции, понадобилась только для того, чтобы блокировать повторявшиеся утверждения о действительном сотрудничестве Сталина с царской охранкой.

Новейшие архивные разыскания проливают дополнительный свет на эту сомнительную версию, выдвинутую в бериевском издании 1937 года, то есть санкционированную Сталиным лично по немаловажным для него мотивам. Историк 3. Серебрякова обнаружила в фонде Серго Орджоникидзе в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС копию донесения о том, что «Коба» (подпольная кличка Сталина) обменялся с секретной агентурой охранного отделения сведениями о последних событиях партийной жизни. Оригинал этого же документа, относящегося к 1912 году, указывает на особые отношения Сталина с большевиком-провокатором Малиновским. Документ этот много десятилетий пролежал в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. По заключению 3. Серебряковой, этот документ, который «каким-то чудом сохранился и ныне обнаружен, да еще в двух архивных фондах, и даже частично опубликован… дает основание считать доказанной связь Сталина с царской охранкой» (Серебрякова З. Сталин и царская охранка. — Совершенно секретно, 1990, э 7, с. 21).

Доказательства связи относятся к 1912 году-времени депутатства Малиновского в IV Государственной думе от большевистской социал-демократической фракции. Однако начало связи с охранкой восходит, очевидно, к более раннему, «батумскому» этапу биографии Сталина, когда он с удостоверением от сибирского исправника первый раз и вполне успешно бежал из иркутской ссылки с помощью своих настоящих покровителей.

При изучении книги «Батумская демонстрация 1902 года» этот эпизод попал в поле зрения Булгакова и вызвал его обостренное внимание, но в тексте пьесы версия бериевского издания опущена, а сам факт побега Сталина из ссылки попадает на внесценическую часть действия, в паузу между последней, девятой картиной (перевод из кутаисской тюрьмы) и эпилогом — неожиданным появлением Сталина в Батуме после побега.

Хотел Булгаков того или нет, но в фокусе его пьесы оказалась одна из самых загадочных и непроясненных страниц биографии молодого Сталина-история «пастыря» до грехопадения; из кутаисской тюрьмы в Батумский замок, а затем в ссылку уходит в последнем действии пьесы один человек, а в эпилоге появляется уже другой, и никто не может точно сказать, какой моральной ценой оплачено его возвращение. Одного этого точного «попадания» в темное место сталинской биографии было совершенно достаточно, чтобы запретить исполнение пьесы в театре без каких-либо официальных разъяснений причин такого запрета. Но даже и независимо от того, кому служил молодой Сталин в подполье, истоки политической традиции, им воспринятой, достаточно выпукло представлены в центральных картинах последней булгаковской пьесы.

Сталин обнаружил необыкновенную восприимчивость к практическим урокам жандармского полковника Трейница, заучив до конца своих дней основные приемы борьбы за власть и использования завоеванной власти, без которых не может существовать никакая самодержавно-государственная пирамида. А как способный и мстительный ученик, он пошел неизмеримо дальше своих невольных учителей из состава военной, жандармской, гражданской и духовной администрации царской России.

Его символическая угроза Трейницу в конце восьмой, «тюремной», картины — это, как доказала история, угроза удесятеренного контроля социализированной государственной машины над жизнью и смертью каждого человека. Это угроза такого чудовищного разрастания личной власти диктатора, соединившего в одних руках все функции «диктатуры пролетариата», по сравнению с которой вся прежняя система царской военно-полицейской власти в лице карателя батумских рабочих ротного капитана Антадзе, тюремных надзирателей, начальника кутаисской тюрьмы, полицеймейстера, жандармского полковника Трейница, губернатора, министра юстиции и, наконец, самого царя Николая II, подписавшего приговор о трехлетней ссылке Джугашвили в Сибирь, — это лишь жалкая фикция абсолютизма, растерявшего свои главные атрибуты и уже не способного предотвратить свое собственное падение.

Бросив вызов одряхлевшей системе власти, Сталин возродил затем в гиперболических формах самые худшие ее качества. Генетические истоки этого феномена русской истории, ставшего явным к концу 1930-х годов, представлены в «Батуме» в лицах и положениях с полной отчетливостью, пусть даже и в сочувственном духе по отношению к молодому бунтарю.

11 июня 1939 года пьесу Булгакова слушали братья Эрдманы, художник и драматург, их мнение было для автора особенно важным. «Пришла домой, — пишет Е. С. Булгакова, — Борис Эрдман сидит с Мишей, а потом подошел и Николай Робертович. Миша прочитал им три картины и рассказал всю пьесу. Они считают, что удача грандиозная. Нравится форма вещи, нравится роль героя» (ГБЛ, ф. 562, к. 28, ед. хр. 25).

В течение месяца, до 12 июля 1939 года, были переписаны с переделками и новыми подробностями вторая, третья и шестая картины пьесы. Вместе с первой редакцией эпилога (картина десятая), где Сталин внезапно, после побега из ссылки, снова возвращается в дом Сильвестра, эти переписанные заново картины перешли во вторую рукописную тетрадь пьесы «Батум».

В дневнике Е. С. Булгаковой 12 июля 1939 года сделана краткая запись: «Чтение в Комитете». Чтение состоялось накануне, 11 июля, в узком кругу, в присутствии председателя Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко и нескольких человек из МХАТа. Читать Булгакову пришлось по тетрадям, перепечатать пьесу набело к этому дню он не успел. Булгаков писал 14 июля 1939 года В. Я. Виленкину:

«Результаты этого чтения в Комитете могу признать, по-видимому, не рискуя ошибиться, благоприятными (вполне).»

«После чтения Григорий Михайлович (Г. М. Калишьян, исполняющий обязанности директора МХАТа. — А. Н.) просил меня ускорить работу по правке и переписке настолько, чтобы сдать пьесу МХАТу непременно к 1-му августа. А сегодня (у нас было свидание) он просил перенести срок сдачи на 25 июля. У меня осталось 10 дней очень усиленной работы. Надеюсь, что, при полном напряжении сил, 25-го вручу ему пьесу… Устав, отодвигаю тетрадь, думаю — какова будет участь пьесы. На нее положено много труда» (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 303–304).

24 июля 1939 года пьеса «Батум» была перепечатана набело и представлена в МХАТ. В театре началась интенсивная подготовительная работа к спектаклю. 14 августа Булгаков вместе с небольшой постановочной группой выехал в Грузию для изучения материалов на месте, в Батуми и Кутаиси. Однако уже через несколько часов специальной телеграммой мхатовская бригада была возвращена в Москву. Булгаков вместе с Еленой Сергеевной сошли с поезда в Туле и вернулись в Москву на случайной машине. С этого дня писатель тяжело заболел и уже не смог оправиться от удара до самой смерти.

По указанию из секретариата Сталина вся работа над постановкой «Батума» была прекращена. Никаких специальных разъяснений в связи с этим неожиданным запретом не последовало. По свидетельству Е. С. Булгаковой, 10 октября 1939 года. посетив МХАТ, Сталин в разговоре с В. И. Немировичем-Данченко обронил загадочную фразу, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить. Иначе говоря, при всех литературных достоинствах пьесы, Сталин не считал ее постановку сколько-нибудь полезной для себя. Он уловил в содержании «Батума» опасный для себя элемент иронии истории, не замеченный и не оцененный другими читателями и слушателями этой добросовестной юбилейной пьесы.

При жизни Булгакова пьеса «Батум» не публиковалась и не исполнялась на сцене.

Впервые напечатана за рубежом в сб.: Неизданный Булгаков. Под ред. Э. Проффер. Анн-Арбор, 1977, с. 137–210. Эта первопубликация осуществлена по дефектной копии, без указания архивных источников и содержит многочисленные искажения и ошибки в тексте,

Первая публикация в СССР — журн. «Современная драматургия», 1988, № 5, с. 220–243 (вступ. статья М. Чудаковой).

В архиве Булгакова сохранилась черновая рукопись пьесы под названием «Пастырь», начатая 10 сентября 1938 года и законченная в январе 1939-го (ГБЛ, ф. 562, к. 14, ед. хр. 7, 8).

В июле 1939 года Булгаков закончил работу над текстом рукописи. Вся пьеса с существенными поправками, сокращениями и дополнениями была перепечатана под диктовку автора набело. Этот экземпляр машинописи может рассматриваться как основной авторский экземпляр пьесы «Батум», аутентичный официальным экземплярам, переданным в дирекцию МХАТа и в Главрепертком.

В настоящем томе «Батум» печатается по этому экземпляру (ГБЛ, ф. 562, к. 14, ед. хр. 9), сверенному с машинописными копиями пьесы, имеющимися в Музее МХАТа и ЦГАЛИ.